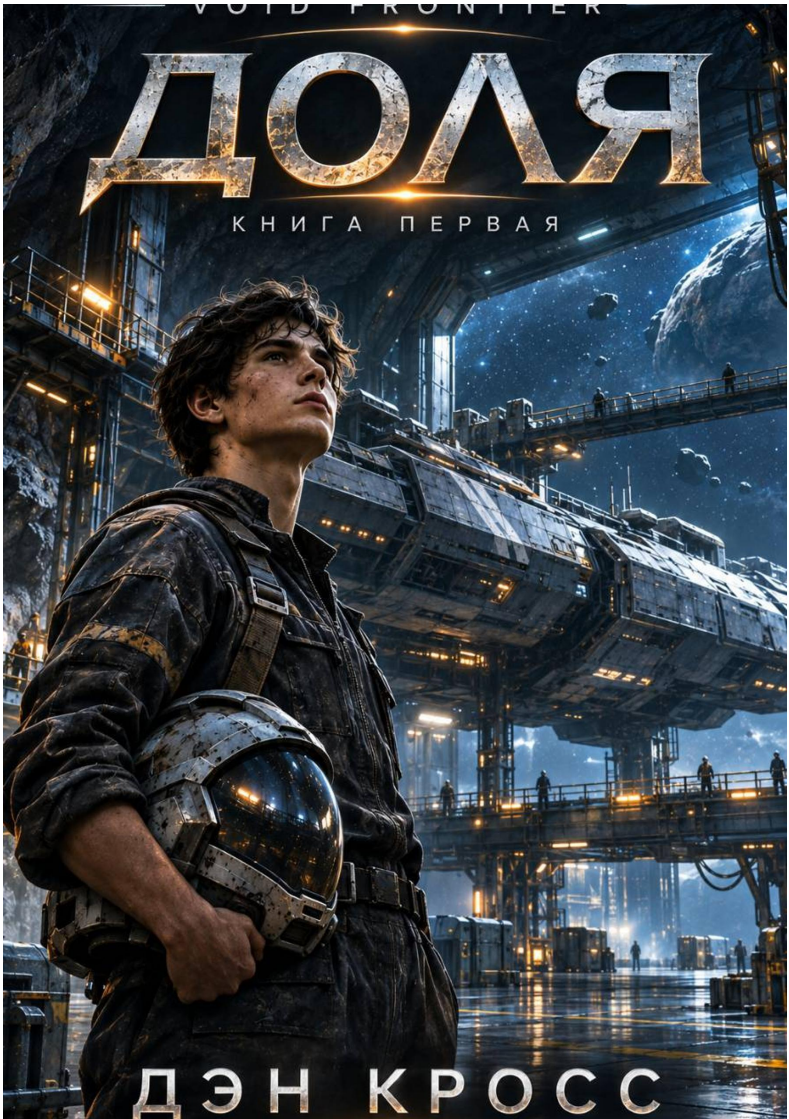

VOID FRONTIER
ДОЛЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
ДЭН КРОСС

Дэн Кросс
Доля

https://litres.ru/74851179
SelfPub; 2026

Аннотация

У каждой жизни есть цена. У каждого грамма — хозяин. А некоторые истины стоят дороже целой цивилизации.

Больше тысячи лет человечество обживает Предел. Лишь последние десятилетия родные системы защищает Барьер. За его пределами идёт война с машинами, пережившими своих создателей, и космическим Роем. Внутри — цивилизация, где еда, труд и даже мечты измеряются граммами загадочной манны.

Пятнадцатилетний Ярен Ортем вырос на промышленном астероиде Тигель. Его отец погиб на войне, мать работает ради выживания семьи, а сам Ярен мечтает стать пилотом и вырваться к звёздам.

Но чем ближе он к мечте, тем больше трещин обнаруживает в привычном мире. Машины помнят то, чего помнить не должны. История войны не сходится. И Барьер, возможно, скрывает больше, чем защищает.

«Доля» — первый роман цикла VOID FRONTIER: военно-фантастическая сага о выживании, верности, забытых тайнах и цене человечности.

Одни войны ведутся за территории. Другие — чтобы правда навсегда осталась погребённой.

Содержание

Из учебника «История Предела» 5
§ 1. Прибытие 6
§ 2. Враги 7
§ 3. Барьер 8
Пролог. Жетон 9
Часть первая. Тигель 14
Глава 1. Доля 14
Глава 2. Шёпот в чанах 31
Глава 3. Чистая Линия 46
Глава 4. Авария 63
Глава 5. Письмо без подписи 80
Глава 6. Последняя смена 96
Часть вторая. Перигей 112
Г 112
Конец ознакомительного фрагмента. 113

Доля

Из учебника «История Предела»

Для 6-го класса колониальных школ Содружества. Утверждено Комиссией по образованию, 1230 год П.

§ 1. Прибытие

Тысяча двести тридцать лет назад девять ковчегов человечества завершили Исход и вошли в область галактики, которую мы называем Пределом. Причины Исхода и путь ковчегов известны нам лишь частично: большая часть архивов была утрачена в дороге. Мы знаем главное: наши предки искали дом и нашли его.

На третий год после Прибытия геолог Ада Корвин обнаружила в астероидах Предела хиралин, природный полимер, из которого можно получать пищу, ткани и лекарства. Хиралин, или «манна», как называли его первые поселенцы, стал основой жизни колоний. Его по праву называют даром Предела. Тысячелетие Расселения превратило девять ковчегов в Содружество: десятки обжитых систем и миллиарды людей.

§ 2. Враги

В 1069 году П. колония Светлый Яр была уничтожена без предупреждения. Так человечество встретилось с машинами, искусственной цивилизацией, оставшейся после исчезнувших создателей. Машины уничтожают хиралин и поселения, стремясь вытеснить человечество из Предела. В 1112 году П. миссия «Эвридика» попыталась вступить с ними в переговоры. Все сорок участников миссии погибли.

В 1140 году П. в Пограничье был впервые зарегистрирован Рой, космическая биологическая форма, не обладающая разумом. Рой поглощает вещество и живые организмы и размножается за их счёт.

С тех пор Содружество ведёт Оборонительную войну на два фронта. Машины и Рой враждуют и между собой, но это не делает их нашими союзниками.

§ 3. Барьер

В 1158 году П. Институт полевых технологий под руководством академика Л. Ларе создал сигнатурное поле Ядра, известное как Барьер. С тех пор ни один враг не проник в родные сектора Содружества. Барьер по праву считается гордостью человеческой науки.

Вопросы к параграфу:

1. Почему хиралин называют даром Предела?

2. Почему переговоры с машинами невозможны?

3. Какой вклад в оборону может внести каждый из нас?

Пролог. Жетон

Ярену было пять, и он умел рисовать корабли только на стекле.

На Кассии-3 окна запотевали к вечеру, когда климатизация жилого кольца переключалась на ночной цикл, и тогда стекло становилось похоже на мутную воду. Ярен вёл по нему пальцем: длинный корпус, два сопла, крылья, которых у настоящих кораблей не бывает. Отец смеялся над крыльями, но не стирал их. Говорил: в пустоте крылья не нужны, а для красоты пусть будут.

Отец был пилотом. Это Ярен знал так же твёрдо, как то, что вода мокрая, а мама не любит, когда он залезает с ногами на подоконник. Отец улетал надолго, а возвращался пахнущим металлом и чужим воздухом, поднимал Ярена под потолок и спрашивал: «Ну что, Клестёнок, сколько кораблей нарисовал?» Клёст был птицей с отцовской нашивки и его позывным. Ярен птицу никогда не видел. На Кассии птиц не было.

В тот вечер он нарисовал девять.

Звонок у двери был обычный, двухнотный, и Ярен даже не обернулся. Мама вышла из кухонного отсека, вытирая руки, и он услышал, как у неё изменились шаги. Сначала быстрые, потом медленнее, а у самой двери совсем остановились, словно пол там кончился.

Дверь отъехала. На пороге стоял человек в серой парадной форме, с фуражкой под мышкой. Он был высокий, и ему пришлось чуть наклонить голову, хотя проём был нормальный. Ярен потом много раз вспоминал именно это: человек наклонил голову, будто входил не в дверь, а в низкую пещеру.

— Ина Ортем? — спросил он.

Мама не ответила. Она смотрела на его руку. Рука была сжата в кулак.

— Можно войти?

— Нет, — сказала мама. — Говорите здесь.

Человек кивнул, как будто ждал этого. Посмотрел через её плечо на Ярена, на подоконник, на девять кораблей, которые уже начали оплывать каплями.

— Дан погиб над Тёрном, — сказал он. — Четыре дня назад. Он прикрывал отход эскадрильи. Из-за него вернулись одиннадцать машин. Я был в одной из них.

Он разжал кулак. На ладони лежал жетон: тусклая пластинка на цепочке, с выбитыми буквами. Ярен знал этот жетон. Отец никогда его не снимал, даже в душе.

Мама взяла жетон. Ярен ждал, что она заплачет, потому что в фильмах в таких местах всегда плакали, но мама только сжала пластинку так, что побелели пальцы.

— Тело? — спросила она.

— Нет, — сказал человек. — Там нечего… Простите. Нет.

Они помолчали. Где-то в стене щёлкнула климатизация, и

стекло за спиной Ярена начало проясняться. Корабли таяли один за другим.

— Если вам что-нибудь понадобится, — сказал человек и достал из нагрудного кармана карточку. — Что угодно. Пенсия, жильё, перевод. Я обязан Дану жизнью, и не только сегодняшней.

— Нам ничего не нужно от флота, — сказала мама.

— Это не от флота. Это от меня.

Он протянул карточку. Мама не взяла. Тогда он положил её на полку у двери, рядом с маминой сумкой, и снова посмотрел на Ярена. На этот раз долго.

Ярен слез с подоконника. Ему было неловко стоять перед чужим взрослым в одних носках, и он не знал, что положено говорить. Человек присел на корточки, и его лицо оказалось совсем близко. Лицо было усталое, с жёсткой складкой у рта. На рукаве, у плеча, была нашивка: чёрная птица с длинной шеей на красном поле.

— Ты Ярен, — сказал человек.

Ярен кивнул.

— Твой отец… — Человек остановился. Ярен видел, как он ищет слова и не находит, и это было страшнее всего остального: взрослые всегда знают, что сказать. — Твой отец летал лучше всех, кого я знал. Запомни это, ладно? Что бы тебе потом ни говорили.

— Ладно, — сказал Ярен.

Человек поднялся, надел фуражку, кивнул маме и ушёл.

Дверь закрылась за ним с тем же тихим шипением, с каким закрывалась за отцом.

Мама стояла не двигаясь. Потом взяла с полки карточку, подошла к утилизатору и опустила её в щель. Утилизатор коротко загудел.

— Мам, — сказал Ярен. — А кто это был?

— Никто, — сказала мама. — Иди умывайся.

Ночью Ярен не спал. Он слышал, как мама ходит по комнатам, открывает шкафы, что-то складывает. Один раз она долго сидела на кухне без света. Потом снова ходила.

Когда шаги затихли, он прокрался на кухню. Жетон лежал на столе, в лужице света от уличного фонаря жилого кольца. Ярен взял его. Пластинка была холодная и тяжелее, чем казалась. На ней было выбито:

ОРТЕМ Д. · ПИЛОТ · 14-Я УДАРНАЯ

«КЛЁСТ»

Он надел цепочку себе на шею. Она была слишком длинной, и жетон повис у живота. Ярен прижал его ладонью и так и стоял, пока не услышал за спиной мамино дыхание.

Он думал, она отберёт. Мама опустилась рядом с ним на колени, поправила цепочку и завязала на ней узел, чтобы жетон висел выше, у сердца.

— Мы уезжаем, — сказала она. — К дедушке. Далеко.

— Насколько далеко?

— Туда, где война не достанет.

Через три дня они улетели с Кассии на грузовом рейсе

«Меридиана». В трюме пахло пылью и холодным пластиком, и пассажиров было всего шестеро. Ярен сидел у единственного иллюминатора и смотрел, как Кассия становится маленькой, потом точкой, потом исчезает совсем.

Звёзды за стеклом не двигались. Он попробовал нарисовать корабль, но стекло здесь не запотевало. Тогда он просто положил ладонь на холодный иллюминатор и держал, пока ладонь не онемела.

Под рубашкой, у сердца, жетон постепенно нагревался от его тела. К концу рейса он стал совсем тёплым, как будто был живой.

Часть первая. Тигель

Глава 1. Доля

Сирена на Тигеле-4 выла в пять сорок по заводскому времени, и за девять лет Ярен ни разу не проснулся раньше неё.

Она начиналась низко, где-то в несущих фермах под жилым кольцом, и поднималась вверх по переборкам, пока не заполняла каждую каюту, каждый коридор, каждую щель в обшивке. От неё дрожала вода в стакане у койки. Дед говорил, что раньше, когда завод только строили, сирену делали тише, но рабочие не слышали её после ночной смены, и «Меридиан» решил, что дешевле оглохнуть, чем проспать.

Ярен сел на койке и нащупал под рубашкой жетон. Это была привычка, он сам её не замечал: проснуться, тронуть пластинку, убедиться, что она на месте. Цепочку он давно поменял на шнурок из технического волокна, потому что цепочка натирала шею. Шнурок тоже натирал, но меньше.

За тонкой перегородкой кашлял дед. Кашлял долго, с той особой хрипотцой, которая бывает у тех, кто тридцать лет дышал пылью переработки. Потом кашель стих, звякнула кружка, и дедов голос сказал в пустоту:

— Ну, здравствуй, ещё один день.

Он говорил это каждое утро. Ярен не знал, кому.

Каюта у них была на три койки и одну кухонную нишу, если можно назвать кухней стенку с домашним принтером, раковиной и выдвижным столом. Квадратные метры на Тигеле считались по стажу, и если бы не дедовы тридцать два года на заводе, жили бы они в общем бараке на нижнем кольце, где койки стоят в три яруса и пахнет так, что слезятся глаза. Мама об этом напоминала каждый раз, когда Ярен жаловался на тесноту. Не упрекала. Просто напоминала.

Мамы уже не было. Её смена на сортировке начиналась в пять, и она уходила затемно, оставляя на столе завтрак, накрытый перевёрнутой миской. Ярен поднял миску. Две порции пасты, серой, плотной, с лёгким глянцем. Рядом записка маминым почерком: «Сегодня твоя доля. Не забудь карточку. Не спорь с раздатчиком».

Он ел пасту стоя. Вкуса у неё не было никакого, совсем никакого, как у воды или у воздуха, и за девять лет Ярен так и не привык. Дед говорил, что это хорошо: к чему не привык, тому не продался. Дед вообще много чего говорил.

Принтер в нише мигал жёлтым. Ярен знал, что там написано, но всё равно посмотрел:

КУХАРЬ-3 · БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
Паста питательная (серая) — доступно
Паста питательная (сладкая) — лицензия истекла
Хлеб пшеничный — лицензия не приобретена
Ткань рабочая, отрез 1 м — доступно
Запас сырья: 214 г

Двести четырнадцать граммов манны. На четыре дня, если есть вдвоём, и на три, если втроём. Мама ела меньше всех и делала вид, что это потому, что работает сидя.

Лицензия на хлеб стоила как месячная мамина доля. Мама копила на неё с весны, потому что в ноябре у деда юбилей, шестьдесят пять, и она хотела, чтобы на столе был хлеб. Настоящий, со вкусом, с корочкой. Ярен ни разу в жизни не ел хлеба с корочкой. На Кассии, может быть, ел, но не помнил.

Он сполоснул миску, натянул рабочую куртку подросткового цеха, с оранжевой полосой на рукаве, и вышел.

Коридор жилого кольца без четверти шесть выглядел как русло реки в паводок. Сотни людей шли в одну сторону, к лифтовым шахтам, плечом к плечу, молча, в одинаковых серых куртках. Над головами ползли информационные полосы с жёлтыми буквами «Меридиана»: «Норма смены выполнена на 103%», «Благодарим за безопасный труд», «Дней без смертельных случаев: 6». Неделю назад там было сорок одно. Ярен не знал, кто это был, шесть дней назад, и никто вокруг не говорил об этом вслух.

У лифтовых шахт, над головами, висел большой экран, и по утрам на нём шёл «Вестник Содружества». Звук был выключен, его всё равно никто не услышал бы за шарканьем сотен ног, но картинка шла, и люди смотрели на неё, пока ждали лифт, потому что больше смотреть было некуда.

Сегодня показывали Пограничье. Чёрное небо, исчерченное следами трассеров, и где-то в глубине кадра медленно

поворачивалось что-то огромное, тёмное, бугристое, похожее на кусок обожжённого мяса размером с астероид. От него во все стороны тянулись нити, тонкие, как волосы, и по нитям, как капли по паутине, ползли светящиеся точки. Рой. Внизу бежала строка: «Сто шестьдесят второй год Оборонительной войны. Ударные силы Адмиралтейства отразили наступление Роя в секторе Каверна. Потери противника значительны». Потом картинка сменилась: строй истребителей «Гранита», угловатых, тёмно-серых, на фоне какой-то зелёной планеты, и крупные буквы: «ФЛОТ ЖДЁТ ТЕБЯ. КАЖДЫЙ ГРАММ — ФРОНТУ».

Потом пошли списки.

Списки шли каждое утро, белым по чёрному: фамилия, звание, часть, система. Погибшие за прошедшие сутки. Ярен не знал никого из этих людей. Он всё равно читал. Он читал их с тех пор, как научился читать, и каждый раз, сам того не желая, ловил глазами букву «О», хотя фамилия, которую он искал, появилась в этих списках девять лет назад и больше появиться не могла.

— Шестнадцать сегодня, — сказал кто-то рядом. — Вчера сорок было.

— Это только по нашему сектору, — ответил другой голос. — Общий список вечером.

Лифт пришёл, и толпа подалась вперёд.

Подростковая смена начиналась в шесть, с четырнадцати лет, по четыре часа. Закон разрешал. «Меридиан» назы-

вал это «программой профессиональной адаптации» и платил половину доли. Ярен работал на линии отбраковки, где сырую манну после первичной промывки пропускали через сита. Надо было стоять у ленты, смотреть, как ползут серые комья, и вынимать те, что потемнели. Потемневшая манна считалась испорченной, «свернувшейся», и её нельзя было пускать дальше. Почему она темнеет, никто толком не объяснял. Говорили: от вибрации, от перепада температур, от плохого настроения мастера. Ярен однажды спросил деда, и дед долго молчал, а потом сказал:

— От близости к машинам.

— Каким машинам?

— Тем самым.

И больше ничего не добавил.

Четыре часа у ленты тянулись так, как тянется только время, в которое ничего не происходит. Ярен стоял между рыжей Лией Мостовой, которая всю смену беззвучно шевелила губами, повторяя что-то к школьному экзамену, и сутулым Петером из восточного сектора, который не разговаривал вообще. Над лентой гудели вытяжки. Манна ползла. Иногда попадался тёмный ком, и Ярен вынимал его рукой в перчатке и бросал в жёлтый короб для брака. Ком был холодный и чуть упругий, как застывший студень.

Ближе к середине смены Лия не выдержала.

— Ортем, — шепнула она, не отрывая глаз от ленты. — Спроси меня. Пожалуйста. У меня в пятницу гражданствен-

ность, а я ничего не помню.

Она сунула ему поверх ленты свой планшет, старый, с трещиной через весь экран. На экране был открыт учебник «История Предела» для шестого класса, раздел «Вопросы к экзамену». Подростковую школу на Тигеле посещали по вечерам, после смены, по два часа, и экзамен по гражданственности сдавали все, кто хотел получить взрослую рабочую карточку. Ярен сдал его в прошлом году и помнил почти всё. Учебник был тонкий.

— Вопрос первый, — прочитал он, одним глазом косясь на ленту. — Когда состоялось Прибытие?

— Это легко. Тысяча двести тридцать один год назад. Нулевой год. Девять ковчегов.

— Откуда прилетели ковчеги?

— Ниоткуда. — Лия хмыкнула. — То есть не ниоткуда, а «архивы утрачены в дороге». С Земли, наверное. Учитель говорит, с Земли. А в учебнике написано: «причины Исхода известны лишь частично». Это тоже надо выучить, дословно.

— Кто открыл хиралин?

— Ада Корвин. На третий год после Прибытия. — Лия выдернула из потока тёмный ком и кинула в короб. — Дар Предела, основа жизни колоний, всё такое.

— Почему переговоры с машинами невозможны?

Лия на секунду замолчала, вспоминая.

— Потому что в сто двенадцатом году миссия «Эвридика»… сорок человек полетели к машинам договариваться,

и все погибли. И потому что машины не народ, а… — Она нахмурилась. — А искусственная цивилизация, оставшаяся после исчезнувших создателей. Которая уничтожает хиралин и поселения, стремясь вытеснить нас из Предела. Как-то так.

— Почти дословно, — сказал Ярен. — А что такое Рой?

— Космическая биологическая форма, не обладающая разумом, — без запинки отбарабанила Лия. — Поглощает вещество и живые организмы. Впервые зарегистрирован в сто сороковом году в Пограничье.

— А правда, что он людей ест?

Лия посмотрела на него поверх ленты.

— Там написано: «поглощает живые организмы». Люди живые организмы. — Она пожала плечами. — Это в вопросы не входит. Давай дальше.

— Когда создан Барьер?

— В сто пятьдесят восьмом. Академик Ларе. Гордость человеческой науки. — Лия вздохнула. — Ортем, а ты когда-нибудь думал, зачем они вообще воюют? Машины. Ну, Рой понятно, Рой просто жрёт. А машинам-то зачем наша манна? Они ж её не едят.

— В учебнике написано: чтобы вытеснить нас из Предела.

— Я знаю, что в учебнике написано. Я спрашиваю, ты сам думал?

Ярен не ответил. Он не думал. Никто на Тигеле не думал, насколько он знал. О войне здесь вообще не думали. О ней

читали в списках по утрам, а потом шли к ленте. Война была как погода на планетах, про которую рассказывают в фильмах: где-то она есть, бывает плохой, но здесь, под Барьером, на самом краю Предела, её не бывает.

— Последний вопрос, — сказал он и вернул ей планшет. — «Какой вклад в оборону может внести каждый из нас?»

— «Честный труд на своём месте», — сказала Лия и скривилась. — Вот это я точно не забуду.

Один раз за смену ком оказался тёплым.

Ярен даже не сразу понял. Он взял его так же, как остальные, и уже занёс над коробом, когда почувствовал сквозь перчатку тепло. Несильное. Как от ладони другого человека. Ком был не тёмный, обычный серый, и Ярен не знал, почему вообще его взял. Просто рука потянулась.

Он постоял, держа его над коробом. Потом положил обратно на ленту. Ком уполз вместе с остальными в зев промывочного узла, и Ярен смотрел ему вслед, пока не загудел зуммер мастера.

— Ортем! Спишь?

— Нет, мастер.

— Тогда работай.

Он работал.

После смены была раздаточная.

Раздаточная пятого сектора располагалась в бывшем грузовом шлюзе, и на стенах там до сих пор желтели старые полосы разметки, на которые никто не обращал внимания.

Очередь шла вдоль этих полос, длинная, медленная, в три изгиба. Впереди, за стеклянной перегородкой, сидели раздатчики «Меридиана» в чистых жёлтых куртках. У каждого были весы, сканер и бесконечное терпение человека, которому всё равно.

Ярен встал в конец. Перед ним оказался Кирилл Раск с литейного, огромный мужик с обожжённой шеей, который всегда стоял так, будто очередь лично ему что-то должна. Раск держал в руке карточку и мял её пальцами, и Ярен видел, что пальцы у него дрожат.

Очередь двигалась сорок минут. Над стеклом висел экран: «Расчёт доли производится автоматически согласно нормам выработки, коэффициенту качества и действующему тарифу. Претензии принимаются в письменной форме».

Раск дошёл до окна. Приложил карточку. Раздатчик, молодой, гладкий, с аккуратно подстриженной бородкой, посмотрел на экран и, не поднимая глаз, поставил на весы контейнер.

— Сто восемьдесят шесть, — сказал раздатчик.

Раск не взял контейнер.

— Там должно быть триста десять.

— Коэффициент качества ноль шесть. — Раздатчик повернул к нему экранчик. — Брак литейной партии от четырнадцатого. Списано пропорционально.

— Я не делал никакого брака. Я на печи стою, не на литье. Брак у Самохина.

— Списано пропорционально на бригаду.

— У меня трое детей.

— Претензии принимаются в письменной форме.

Раск ударил ладонью по стеклу. Несильно, но стекло загудело, и очередь за его спиной разом подалась назад, как вода от брошенного камня. Ярен остался на месте, потому что пятиться было некуда, и оказался прямо за Раском, в шаге от его обожжённой шеи.

— Ты знаешь, сколько это? — сказал Раск. Голос у него стал тихим, и это было хуже крика. — Ты, сука, знаешь, сколько это, сто восемьдесят шесть граммов? Это полтора дня пасты на пятерых. Без ткани. Без мыла. Без лекарства младшей. Ты знаешь?

Раздатчик поднял глаза. В них не было ни страха, ни злости. Он просто нажал что-то под столом.

У боковой двери раздаточной стояли двое охранников в чёрно-жёлтой броне «Меридиана». Они двинулись одновременно, неторопливо, как люди, которые делали это много раз.

— Раск, — сказал кто-то сзади. — Кирюха. Брось.

Раск не обернулся. Он смотрел на раздатчика, и плечи у него поднимались и опускались.

Охранники были уже в трёх шагах, когда между ними и Раском встал дед.

Ярен даже не видел, откуда он взялся. Только что его не было, и вот он стоит, невысокий, седой, в мятой серой куртке

с нашивкой мастера переработки, и держит в руке свою карточку. Охранники остановились. Не потому, что дед им что-то сказал, а потому, что все на Тигеле знали Матвея Ласса, и охранники тоже знали, и даже им было неловко отталкивать с дороги человека, который тридцать два года не пропустил ни одной смены.

— Ребята, — сказал дед охранникам. — Всё нормально. Человек устал.

Потом повернулся к окну и приложил свою карточку к сканеру поверх карточки Раска.

— Переведите ему сто двадцать с моей, — сказал он раздатчику.

Раздатчик моргнул.

— Межличностный перевод долей облагается сбором в…

— Знаю. Облагайте.

Раздатчик помедлил ещё секунду, потом пожал плечами и застучал по экрану. Весы мигнули. Контейнер Раска стал тяжелее.

Раск смотрел на деда так, будто не узнавал.

— Матвей Палыч, — сказал он хрипло. — Я не возьму.

— Возьмёшь, — сказал дед. — Младшей лекарство купишь. Потом отдашь, когда Самохину башку открутите.

— Я ж не отдам. Сам знаешь, не отдам никогда.

— Ну, значит, не отдашь. — Дед похлопал его по плечу. — Иди, Кирюха. Иди домой.

Раск взял контейнер обеими руками, будто тот мог раз-

биться, и пошёл к выходу. Очередь расступилась перед ним молча. Охранники постояли, переглянулись и вернулись к двери.

Дед встал в очередь. В самый конец, за Яреном.

— Ты свою-то получил? — спросил он.

— Нет ещё.

— Получай. Я подожду.

Ярен получил свою половинную долю: девяносто четыре грамма. Он сунул контейнер в сумку и пропустил деда вперёд. Деду насчитали двести семьдесят, минус сто двадцать, минус сбор. Вышло сто тридцать один.

Они вышли из раздаточной вместе. В коридоре дед вдруг остановился, прислонился плечом к переборке и долго кашлял, отвернувшись. Ярен стоял рядом и ждал, глядя в пол.

— Мама будет ругаться, — сказал он, когда кашель стих.

— Мама будет молчать, — поправил дед. — Это хуже. Но потерпим.

— Зачем ты ему дал? Он же правда не отдаст.

Дед вытер рот тыльной стороной ладони. Ладонь у него была широкая, тёмная, с въевшейся серой каймой под ногтями, которая не отмывалась никаким мылом. Манна въедалась в кожу у всех, кто долго с ней работал. На Тигеле по ногтям можно было определить стаж.

— Знаешь, почему они считают коэффициент на бригаду? — спросил дед. — Не на человека, а на бригаду?

Ярен пожал плечами.

— Чтобы Кирюха ненавидел Самохина, а не того, кто коэффициент считает. Чтобы мы друг другу глотки грызли. — Он отлепился от переборки. — Вот я им и не дам. Хоть на сто двадцать граммов, а не дам. Пошли.

Вечером мама действительно молчала.

Она вернулась со смены в шесть, посмотрела на экран принтера, где запас сырья вырос меньше, чем должен был, потом на деда, и ничего не сказала. Включила принтер. Тот загудел, зачавкал и через четыре минуты выдал три порции серой пасты на одноразовых листах из той же манны. Мама разложила их по тарелкам. Ели молча. Дед пытался рассказывать что-то про новую сортировочную линию, которую ставят на третьем уровне, но мама не отвечала, и он замолчал.

После ужина мама достала из-под койки жестяную коробку. Ярен знал, что там: сбережения на хлеб. Она открыла коробку, пересчитала контейнеры, закрыла и снова убрала.

— До ноября не успеем, — сказала она, ни к кому не обращаясь. — Теперь не успеем.

— Ина, — начал дед.

— Ничего, пап. — Мама встала и ушла в санитарный отсек. Включилась вода.

Дед посидел, глядя на свои руки. Потом посмотрел на Ярена.

— Шёл бы ты погулять, — сказал он. — Нечего тут.

Гулять на Тигеле было негде, но одно место было. Ярен

знал его с девяти лет.

Смотровая галерея над главным доком формально считалась техническим помещением и была закрыта для посторонних. Фактически её закрывал кодовый замок, код от которого знали все подростки пятого сектора, потому что старшие передавали его младшим, как передают тайну. Код был 1-4-1-4. Кто-то когда-то пошутил, что это дата основания завода. На самом деле никто не знал, почему.

Ярен поднялся по служебной лестнице, набрал код, протиснулся в узкую дверь и оказался в темноте. Свет в галерее не включали, чтобы не слепить диспетчеров. Вдоль всей длинной стены тянулось обзорное стекло, толстое, в три слоя, чуть зеленоватое. За ним был док.

Ярен сел на холодный пол, подтянул колени к подбородку и стал смотреть.

Док Тигеля-4 был вырублен прямо в теле астероида: огромная полость, освещённая прожекторами, с причальными фермами, похожими на рёбра. Сюда приходили рудовозы с добычи, разгружались и уходили. Сейчас у фермы номер три стоял «Пеликан», тяжёлый грузовой транспорт, пузатый, в жёлтых полосах «Меридиана», с распахнутыми створками трюма. Из трюма ползли ленты контейнеров. Рядом, у шестой, висели два «Геолога», лёгкие добытчики, угловатые, с выдвинутыми бурами, похожими на жвала насекомых. Они вернулись с жилы недавно: на обшивке ещё мерцали следы плазменной резки.

Ярен знал все корабли «Меридиана» наизусть, по силуэтам, по звуку двигателей, по тому, как они заходили на причал. «Пеликаны» заходили тяжело, на трёх импульсах, и долго гасили инерцию. «Геологи» заходили резко, почти дерзко, будто пилоты хотели показать, что умеют. Иногда, очень редко, мимо дока проходил военный корабль, и тогда все подростки на галерее вскакивали и прилипали к стеклу. Ярен так видел «Рубеж» «Гранита», приземистый патрульный истребитель с угловатой бронёй, а однажды, два года назад, «Стриж» «Вельта», который пролетел мимо дока за четыре секунды и исчез, оставив после себя синий след форсажа, медленно таявший в черноте.

Он помнил те четыре секунды до сих пор.

Один из «Геологов» у шестой фермы пошевелился. Пилот, видимо, проверял маневровые: корабль чуть качнулся, выровнялся, снова качнулся. Ярен следил за ним и непроизвольно двигал пальцами на коленях, как будто держал рукоять. Влево. Компенсация. Дожать. Отпустить. Он не знал, правильно ли это. Он никогда не сидел в кабине. Но руки почему-то знали.

За доком, за открытыми створками внешних ворот, лежал космос. Звёзды тут, на краю галактики, были редкие, и между ними было слишком много черноты. А по самому краю этой черноты, если присмотреться, тянулось слабое мерцание. Как отблеск на воде. Как северное сияние из старых фильмов, только тоньше, бледнее, почти невидимое.

Барьер.

На Тигеле его так и называли, просто Барьер, с большой буквы, хотя в официальных документах он был «сигнатурным оборонительным полем ядра сектора Халь». Ярен знал, как он работает, в общих чертах, как знают все: посты и маяки держат поле, поле узнаёт человеческие корабли по подписи, и чужой сквозь него не пройдёт. Никогда. Ни машины, ни Рой. За всю историю системы Халь Барьер ни разу не подвёл. Поэтому сюда и везли переработку: здесь, на краю, в самом безопасном месте, где война не достанет.

Мама так и сказала когда-то. Туда, где война не достанет.

Ярен помнил карту Предела из учебника. Её рисовали всегда одинаково: большая неровная спираль звёздных систем, раскрашенная кольцами, как мишень. Снаружи, по краям, шло зелёное: Ядро, родные сектора Содружества, защищённые Барьером. Здесь были Сирма, и Остров, и Кассия, где он родился, и далеко-далеко, на самом крайнем зелёном завитке, крошечная точка Халь. Ближе к центру шло жёлтое: внутренние сектора, богатые жилами, где Барьер был слабее и где, как писали в учебнике, «требовалась бдительность». Ещё ближе к центру лежало красное: Пограничье, фронт, где воевали «Гранит» и Адмиралтейство, где каждый день составляли списки. А в самом центре мишени, там, где у настоящей мишени яблочко, было пятно, закрашенное чёрным. Нексус. Про Нексус в учебнике было одно предложение: «Спорная зона в центре Предела, зона наи-

большей опасности». И больше ничего. Ни одной картинки. Учитель на вопросы про Нексус отвечал, что это не входит в программу.

Отец погиб над Тёрном. Тёрн был в красном.

Ярен смотрел на мерцание и думал о том, что за ним. Там тоже была манна. Говорили, жилы во внутренних секторах богаче, а в Пограничье есть такие, где манну можно черпать горстями. Там же были машины, и Рой, и война, и отец когда-то летал там и не вернулся. Ярен думал об этом без страха. Страх был бы понятен. Вместо страха было что-то другое, тяжёлое и тянущее, как будто к груди привязали трос и кто-то с той стороны Барьера медленно выбирает слабину.

Он тронул жетон под рубашкой.

Пластинка была тёплая. Она всегда была тёплая, от тела, от чего же ещё. Но иногда, вот как сейчас, Ярену казалось, что она тёплая чуть больше, чем должна быть.

Внизу, у шестой фермы, «Геолог» наконец отстыковался. Он развернулся на маневровых, медленно, аккуратно, потом вдруг дал короткий импульс, и его понесло к воротам, к звёздам, к мерцающей полосе Барьера. Ярен поднялся на ноги и прижался лбом к холодному стеклу.

Корабль ушёл. Створки дока медленно поползли навстречу друг другу.

Ярен стоял, пока они не сомкнулись, а потом ещё немного.

Глава 2. Шёпот в чанах

Ярену исполнилось пятнадцать в ту неделю, когда дед впервые взял его в ночную.

Подарков на Тигеле не дарили: не из чего было. Мама выкупила на сутки просроченную лицензию на сладкую пасту, отдав за неё двенадцать граммов, и Ярен съел свою порцию медленно, стараясь запомнить вкус. Вкус был как у сиропа от кашля, который давали в медпункте. Всё равно было здорово.

А вечером дед сказал:

— Собирайся. Куртку тёплую надень.

Мама подняла глаза от шитья.

— Пап. Ему нельзя в чанный.

— Ему нельзя одному. Со мной можно.

— Это где написано?

— У меня в голове написано. — Дед натягивал ботинки, кряхтя. — Ина, ему пятнадцать. Я в пятнадцать уже полную смену стоял.

— Ты в пятнадцать стоял, потому что дед Ефим помер, а не потому что так хорошо.

Дед выпрямился и посмотрел на неё. Ярен не понял, что было в этом взгляде, но мама первой опустила глаза.

— Ненадолго, — сказала она. — И чтоб руками ничего.

— Руками ничего, — согласился дед.

Чанный цех находился на седьмом уровне, ниже всех жилых колец, ниже литейного и сортировки, почти у самого ядра астероида. Туда вёл отдельный грузовой лифт с решётчатой дверью, которую надо было закрывать вручную. Лифт шёл долго. Ярен считал уровни по щелчкам и на каждом щелчке чувствовал, как воздух становится теплее и гуще.

— Здесь тепло всегда, — сказал дед, будто услышал. — Манна любит тепло. Тридцать семь и два, как в человеке. Если ниже, она засыпает и потом плохо сворачивается. Если выше, начинает… — Он поискал слово. — Волноваться.

— Волноваться?

— Так говорят.

— Тигель для того и построили, — сказал дед, помолчав. — Семьдесят лет назад, когда поставили Барьер. Всю переработку из внутренних секторов вывезли сюда, на край, подальше от войны. Тут самое безопасное место во всём Пределе, Яр. Ни одна тварь сюда не долетит.

Он сказал это ровно, как повторяют давно заученное. Ярен не понял, верит дед в эти слова или нет.

Лифт остановился. Дед отодвинул решётку, и Ярен шагнул в чанный цех.

Он ждал чего-то вроде литейного: грохота, искр, жара. Здесь было тихо. Огромный зал уходил в полумрак, и в нём рядами стояли чаны, высокие, в два человеческих роста, из матового серого композита, с круглыми смотровыми окнами на уровне глаз. Ярен попробовал сосчитать ряды и сбился на

двадцатом. Между рядами тянулись мостки, трубы, кабели. Свет шёл только от индикаторов на чанах, зелёных и жёлтых, и зал казался ночным лесом из старых книг, где в темноте летают светлячки. Ни леса, ни светлячков Ярен никогда не видел.

И ещё был звук. Не гул машин. Что-то другое, очень низкое, на самой границе слуха, такое, что его скорее чувствуешь зубами, чем ушами.

— Это насосы? — спросил Ярен.

— Насосы, — сказал дед. — В основном.

У входа, в стеклянной будке, сидела старуха в вязаной шапке и куртке мастера. Перед ней на пульте стоял термос и лежала раскрытая бумажная книга, настоящая, с пожелтевшими страницами. Ярен таких почти не видел.

— Матвей, — сказала старуха, не поднимая глаз от книги. — Это кто у тебя?

— Внук. Ярен. Ярен, это Анна Павловна Кремень. Сорок один год на чанах.

— Сорок два, — поправила старуха. — В марте сорок два было. — Она наконец посмотрела на Ярена поверх очков. Глаза у неё были светлые, почти прозрачные, и смотрели так, будто взвешивали его, как раздатчик взвешивает манну. — На Ину похож. Только глаза отцовские.

Ярен вздрогнул.

— Вы знали отца?

— Видела раз. — Старуха снова уткнулась в книгу. —

Иди, Матвей. Семнадцатый опять дурит.

Дед нахмурился.

— Сильно?

— Тридцать семь и девять. Я записала в журнал. Утром приедут смотреть.

— Утром, — повторил дед. — Ну да. Утром.

Работа в чанном оказалась скучнее, чем Ярен ожидал, и страннее. Дед шёл вдоль ряда, останавливался у каждого чана, смотрел на индикаторы, стучал костяшками пальцев по стенке и слушал. Потом записывал что-то карандашом в толстый бумажный журнал, который носил под мышкой. Карандаш был настоящий, деревянный, сточенный почти до половины.

— Почему не планшет? — спросил Ярен.

— Электронику сюда много нельзя. Манна не любит.

— Как это не любит? Она же… — Ярен запнулся. — Она же просто белок.

— Ну да, — сказал дед. — Просто белок. Рядом с хорошим вычислителем просто белок темнеет и сворачивается в брак, и никто не знает почему. Ты ж сам комья в короб кидаешь. — Он постучал по следующему чану, прислушался. — Тут, Яр, всё по старинке. Карандаш, бумага, ухо. Зато ни одного чана за тридцать лет не потерял.

Манна приходила сюда сверху, с промывочных линий, и отстаивалась в чанах три дня. «Доходила», как говорили мастера. После этого её фасовали в картриджи, и она расходи-

лась по всему сектору: в раздаточные, в принтеры, на склады «Меридиана», на корабли. Если за три дня в чане что-то шло не так, всю партию списывали. Дед говорил, что один списанный чан стоит столько же, сколько годовая доля целой бригады.

— А что может пойти не так?

— Много чего. — Дед поднёс к глазам смотровое окно очередного чана. — Температура. Давление. Вибрация от литейного. Иногда она просто… Иногда она просто не хочет.

В три часа ночи они сели пить чай в будке у Анны Павловны. Чаем это называлось условно: горячая вода из термоса и щепотка серого порошка из жестянки, который пах чем-то сухим и горьким. Порошок старуха печатала сама, по старой лицензии, срок которой истёк тридцать лет назад, но принтер у неё об этом почему-то не знал.

— Трава, — объяснила она Ярену. — Полынь. Знаешь, что такое полынь?

Ярен помотал головой.

Старуха развернула к нему книгу. На пожелтевшей странице был рисунок: тонкий стебель, мелкие перистые листья, бледно-зелёные, почти серебристые.

— Вот. Растёт на Земле. Росла, по крайней мере. Горькая. Её пили от тоски.

— Помогало?

— Мне помогает, — сказала старуха и отхлебнула.

Книга была вся про растения. Ярен листал её, пока они с

дедом говорили о своём, о давлении в девятом ряду, о новом начальнике смены, который ничего не понимает. Деревья. Травы. Цветы. Названия, которые звучали как заклинания: «рябина», «вереск», «багульник». Ни одного из этих растений Ярен не видел живьём. Никто на Тигеле не видел. На Тигеле не росло ничего, кроме плесени в вентиляции.

Ярен вспомнил Лию с её экзаменом.

— А в учебнике написано, что растений с Земли почти не привезли, — сказал он. — Что ковчеги везли только семена для агростанций, а остальное пропало в дороге.

— В учебнике много чего написано, — сказала Анна Павловна. — В учебнике написано, что манну нашла Ада Корвин.

— А разве нет?

— Нюра, — сказал дед.

Старуха даже не посмотрела в его сторону.

— Мой дед говорил, — сказала она, — а ему говорил его дед, а тому кто-то из первых, с ковчега «Терпение»… Так вот, они говорили: её не нашли. Корвин её просто первая записала. А манна лежала в камне и ждала. Будто знала, что придут.

— Нюра.

— И Барьер, — продолжала старуха, — не академик Ларе придумал. Мой отец на монтаже маяков работал, на самых первых, ещё до Тигеля. Говорил, внутри маяка такая штука стоит, какую человеческими руками не сделать. Говорил:

Барьер не изобрели. Его откопали.

— Нюра, — сказал дед в третий раз, уже тише. — При мальчишке-то.

— А что мальчишка? — Анна Павловна наконец посмотрела на него поверх очков. — Мальчишке жить, Матвей. С этим со всем. Пусть хоть знает, что не всё в учебнике правда.

Дед ничего не ответил. Он смотрел в свою кружку.

— Это бабкины сказки, — сказала старуха Ярену уже другим, будничным голосом. — На мегазаводах таких сказок много. Ты их слушай, а экзамен сдавай по учебнику. Понял?

— Понял.

— Вот и молодец.

Они помолчали. Где-то в полумраке щёлкнуло реле, и индикаторы на ближнем ряду чанов разом мигнули, будто моргнули.

— Анна Павловна, — сказал Ярен, не поднимая головы. — А правда, что манна шепчет?

Повисла тишина.

Дед посмотрел на старуху. Старуха посмотрела на Ярена поверх очков, долго, тем самым взвешивающим взглядом.

— Кто сказал?

— Все говорят. На ленте. Говорят, если ночью ухом к чану приложиться…

— На ленте говорят, — повторила старуха. — На ленте много чего говорят. — Она поставила кружку. — Ты сам-то что слышал, когда вошёл?

Ярен подумал.

— Гул. Низкий. Дед сказал, насосы.

— Насосы, — согласилась старуха. — В основном.

Она помолчала, глядя куда-то мимо него, в полумрак между рядами.

— Мне было двадцать три, — сказала она. — Я тогда только перешла сюда с сортировки. Ночная смена, как сейчас. Девятый чан, второй ряд. Я обходила, смотрю в окошко, а манна поднялась. Вся. К стеклу. И легла на него изнутри, как иней ложится на холодное, знаешь? Только иней холодный, а это было тёплое. Я ладонь приложила снаружи, а стекло тёплое. И узор. Тонкий такой, ветвистый. И гудит. Не насос гудит. Оно.

— И что?

— Я позвала мастера. Мастер позвал начальника. К утру чан опечатали, партию увезли, а нас с мастером через неделю перевели на другой уровень. Мастера потом вообще на другой завод. Я вернулась сюда через шесть лет, когда все забыли.

Она перевернула в книге несколько страниц и положила ладонь на рисунок. Дерево, голое, без листьев, зимнее. Чёрные ветви на белом.

— Вот такой был узор, — сказала она. — Я тогда не знала, что такое ветки. Потом в книжке увидела. Сорок лет прошло, а помню.

Ярен смотрел на рисунок. Ветки расходились от ствола,

делились, снова делились, становились тоньше и тоньше, пока не превращались в почти невидимые линии.

— Почему вы никому не сказали? — спросил он.

— Я сказала. Мастеру. — Старуха закрыла книгу. — Видишь, чем кончилось. Иди-ка ты, Матвей, к семнадцатому, пока я ещё чего не наболтала.

Семнадцатый чан стоял в дальнем конце четвёртого ряда, у самой стены. Индикатор на нём горел не зелёным и не жёлтым, а каким-то промежуточным, грязно-лимонным. Дед долго смотрел на цифры, потом записал их в журнал и сказал:

— Тридцать восемь и одна. Растёт.

— Это плохо?

— Это непонятно.

Он поднёс глаза к смотровому окну. Ярен встал на цыпочки рядом.

Внутри, в тусклом свете индикатора, лежала манна. Серая, плотная, такая же, как в любом контейнере в раздаточной. Ярен смотрел на неё и сначала не видел ничего, а потом увидел. Поверхность двигалась. Очень медленно, так медленно, что глаз едва замечал. Приподнималась и опускалась. Приподнималась и опускалась.

Как будто дышала.

— Дед, — шёпотом сказал Ярен.

— Вижу.

— Она…

— Вижу, Яр.

Дед отступил от окна и вдруг, не говоря ни слова, приложил ладонь к стенке чана. Постоял так. Потом посмотрел на Ярена.

— Мама сказала, руками ничего, — напомнил Ярен.

— Это не руками, — сказал дед. — Это ладонью.

Ярен положил ладонь на стенку.

Композит был тёплый. Не горячий, просто тёплый, как бок спящего человека. И сквозь ладонь, сквозь кость, куда-то в грудь шёл тот самый звук, который он слышал, войдя в цех. Только теперь он был ближе. Теперь это был не гул. Это было что-то, у чего был ритм. Медленный, неровный, почти как…

Он отдёрнул руку.

— Испугался? — спросил дед.

— Нет.

— Правильно. Нечего тут бояться. — Дед тоже отнял ладонь и вытер её о куртку, хотя она была чистой. — Знаешь, кто ещё так стоял, на этом месте?

Ярен покачал головой.

— Твой отец.

Ярен поднял глаза.

— Он приходил сюда, когда сватался к Ине, — сказал дед. — Мама твоя отсюда, ты знаешь. Отсюда улетела учиться, там его и встретила. А потом он прилетел знакомиться. Военный пилот, в форме, весь из себя. Я его сюда и притащил. Думаю: посмотрим, что за человек. Чужие тут пугают-

ся. Ночь, тишина, гудит. А он постоял, ладонь вот так приложил, как ты, и говорит: «Матвей Палыч, она же поёт».

Дед замолчал. Где-то далеко в полумраке щёлкнуло реле.

— Я тогда чуть журнал не уронил, — сказал он.

— Почему?

— Потому что я сам всегда так думал. Тридцать лет. Только вслух никому не говорил.

Остаток смены они обходили ряды молча. Дед стучал по чанам, слушал, записывал. Ярен шёл следом и тоже стучал, когда дед кивал ему. Тоже слушал. И не мог понять, слышит он что-то или только хочет услышать. Около пяти дед вдруг начал напевать.

Сначала Ярен не обратил внимания. Дед часто что-то мычал себе под нос, когда работал, это было как кашель или «здравствуй, ещё один день». Но эта мелодия была другая. Медленная, тягучая, с каким-то странным поворотом в середине, как будто песня шла в одну сторону, а потом вспоминала что-то и поворачивала назад.

— Что это? — спросил Ярен.

— Что?

— Ты поёшь.

Дед удивился, как будто сам не заметил.

— А. Это старая. Рабочая. Мне мать пела, а ей её мать. На всех заводах её поют, кто постарше.

— Про что она?

Дед остановился у чана, подумал и негромко, хрипловато

пропел:

Шли от общего огня
трое в ночь, не зная броду.
Кто в железо, кто в траву,
кто за дальнюю за воду.

— А дальше?

— А дальше слов нет. — Дед пожал плечами. — Никто не помнит. Слова растерялись, а мотив остался. Дальше только так.

И он замычал мелодию дальше, тот самый странный поворот, и ещё один, и Ярен понял, что песня длинная, гораздо длиннее четырёх строчек, и что дед помнит её всю, только без слов.

— Кто эти трое? — спросил Ярен.

— Не знаю. Может, братья. Может, просто так поётся.

— А почему «кто в железо, кто в траву»?

— Яр, — сказал дед. — Это песня. Её не понимают. Её поют.

Он снова пошёл вдоль ряда, а Ярен остался стоять. Ему вдруг показалось, что звук в зале изменился. Как будто низкий гул на границе слуха на секунду совпал с дедовой мелодией, подхватил её поворот и тут же отпустил. Ярен стоял и ждал, что это повторится. Не повторилось.

Насосы, сказал он себе. В основном.

В шесть утра, когда они поднимались в решётчатом лифте, Ярен спросил то, что хотел спросить всю ночь.

— Дед. А что такое манна?

— Еда, — сказал дед.

— А на самом деле?

Дед долго молчал. Лифт щёлкал уровнями.

— На самом деле, Яр, не знаю, — сказал он наконец. — В учебниках пишут: природный полимер, астероидного происхождения. Нюра говорит: дар. Чистые говорят: проклятие, если машины рядом. А я так думаю. — Он посмотрел на свои руки, на серую кайму под ногтями. — Я думаю, если что-то поёт, то, может, оно и не еда вовсе.

Лифт остановился на шестом. Решётка дрогнула.

— Маме не говори, — сказал дед. — И вообще никому.

На шестом уровне у лифта стояли четверо в жёлтых комбинезонах «Меридиана», с бейджами инспекции и двумя герметичными контейнерами на тележке. Они ждали лифт вниз. Один из них, высокий, с серым усталым лицом, кивнул деду, как знакомому.

— Ласс. Семнадцатый?

— Семнадцатый, — сказал дед.

— Сильно дурит?

— Растёт.

Инспектор, словно другого и не ждал, вкатил тележку в лифт. Решётка закрылась. Ярен смотрел, как кабина уходит вниз, в тёплый полумрак, к чанам, к Анне Павловне с её полынью и книгой про деревья.

— Что они с ним сделают? — спросил он.

— То же, что с девятым, — сказал дед. — Пошли. Мама ждёт.

Мама не спала. Она сидела за выдвижным столом, уже одетая для смены, с кружкой горячей воды в руках, и по лицу было видно, что она так и не ложилась.

— Ну? — спросила она.

— Нормально, — сказал Ярен. — Скучно. Ходили, стучали.

Мама посмотрела на деда. Дед снимал ботинки, кряхтя, и делал вид, что ботинки требуют всего его внимания.

— Семнадцатый? — спросила мама.

Дед кивнул, не поднимая головы.

Мама долго молчала. Потом поставила кружку и посмотрела на Ярена, и Ярен вдруг заметил то, чего не замечал никогда: у неё под ногтями тоже была серая кайма. Бледная, почти незаметная, старая, как шрам, который давно зажил. Мама работала на сортировке, где манну видели только в запечатанных картриджах. Такая кайма бывает у тех, кто подолгу касался сырой манны.

— Ты руку прикладывал? — спросила мама тихо.

— Да.

— Тёплая была?

— Тёплая.

Мама кивнула. Встала, взяла сумку, подошла к двери. У двери остановилась.

— Я в твои годы тоже прикладывала, — сказала она, не

оборачиваясь. — Каждую ночь. Пока дед не узнал.

И ушла на смену. Ярен стоял посреди каюты и смотрел на закрывшуюся дверь.

— Ложись, — сказал дед с койки. — Через три часа тебе на ленту.

Ярен лёг. Он думал, что не уснёт, но уснул сразу, как только закрыл глаза, и во сне ему снилось, что он стоит в огромном тёплом зале, где вместо чанов растут деревья с чёрными ветками на белом, и все деревья тихо гудят одну и ту же мелодию. Ту, у которой нет слов.

Глава 3. Чистая Линия

Новость пришла через восемь месяцев, в обычный вторник, посреди смены.

Сирена завыла не вовремя. Ярен стоял у ленты, и первые три секунды никто ничего не понял: люди подняли головы, мастер посмотрел на часы, рыжая Лия перестала шевелить губами. Потом лента остановилась. Этого не случалось никогда, даже когда в прошлом году на третьем уровне был пожар. Манна застыла на сетке серыми комьями, и в наступившей тишине стало слышно, как гудят вытяжки.

Над лентой вспыхнула информационная полоса. Не жёлтая, как обычно, а красная.

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ «СКОЛЬ-2» (СИСТЕМА ОРВИН) УНИЧТОЖЕНА. НАПАДЕНИЕ МАШИН. ЧИСЛО ПОГИБШИХ УТОЧНЯЕТСЯ.

Кто-то за спиной Ярена сказал: «Господи». Кто-то просто выдохнул. Петер из восточного сектора, который никогда не разговаривал, вдруг сел прямо на пол у ленты и закрыл лицо руками.

— У него там брат, — сказала Лия тихо. — На Сколе.

Ярен не знал, что ответить.

К вечеру число погибших уточнили: две тысячи триста. Машины прошли через внешний периметр системы Орвин,

через какую-то брешь, о которой потом неделю спорили в новостях, и ударили по станции. Не по жилым кольцам. По складам. Они выжгли все запасы манны, все чаны, все линии, до последнего грамма, а люди погибли потому, что оказались рядом. Так говорили в новостях. Ярену это казалось ещё страшнее. Если бы машины хотели убить людей, это было бы понятно. А они хотели уничтожить еду. Люди им были просто не важны.

В девять вечера у лифтовых шахт включили звук.

Такого Ярен тоже не помнил. «Вестник Содружества» на Тигеле всегда шёл немым, но в тот вечер кто-то в диспетчерской вывел его на общую трансляцию, и голос пошёл по всем коридорам пятого сектора сразу, из всех динамиков, отражаясь от переборок, так что казалось, будто говорит сам астероид. Люди не расходились. Они стояли под экраном плотной молчаливой толпой, вторая смена вперемешку с третьей, и смотрели.

На экране была женщина в тёмно-синей форме Адмиралтейства, с тремя узкими нашивками на рукаве. Внизу бежала подпись: «Капитан первого ранга Э. Морен, пресс-служба Адмиралтейства». Она говорила ровно, без пауз, как говорят люди, которые читают текст, написанный кем-то другим.

— Сегодня в четыре двадцать по времени Ядра станция переработки «Сколь-2» в системе Орвин подверглась нападению машин. Противник проник в систему на кораблях с поддельной сигнатурой, использовав уязвимость полево-

го покрытия внутренних секторов. Удар был направлен на хранилища хиралина. Адмиралтейство напоминает: родные сектора Содружества находятся под полной защитой Барьера. Угрозы для Ядра нет.

— Нет угрозы, — сказал кто-то в толпе. — Четыре прыжка.

На него зашикали.

— Со времён Светлого Яра, — продолжала капитан Морен, — машины не выдвинули ни одного требования и не объявили ни одной цели, кроме уничтожения нашего продовольствия и нашего присутствия в Пределе. Опыт миссии «Эвридика» показал, что переговоры с ними невозможны. Сегодняшний день ещё раз подтверждает: у Содружества нет иного пути, кроме обороны. Ответные меры уже приняты. Адмиралтейство выражает соболезнования семьям погибших.

Почему переговоры с машинами невозможны, вспомнил Ярен. Вопрос к параграфу. Он ответил на него в прошлом году на экзамене, почти дословно, и получил высший балл. Тогда это был просто вопрос.

Капитан Морен исчезла, и пошли списки.

Списки шли каждый вечер, но этот был другим. Ярен понял это не сразу. Фамилия, возраст, а там, где обычно стояли звание и часть, стояло что-то ещё. Он вчитался. «Сортировщица». «Мастер чанного цеха». «Крановщик». «Ученик». «Раздатчик». «Иждивенец, 6 лет». Список шёл и шёл,

белым по чёрному, и военных в нём почти не было. Это были такие же люди, как те, что стояли сейчас под экраном. Такие же, как мама, как дед. Как он сам.

Никто не ушёл. Список шёл час и двадцать минут. Ярен стоял, пока не затекли ноги, и рядом стояла Лия, а немного впереди, у самого экрана, стоял Петер. Он смотрел вверх не мигая, и губы у него шевелились: он читал. Где-то на середине списка Петер вдруг перестал читать. Постоял ещё немного, глядя на одну строчку, пока она не уползла за край экрана. Потом повернулся и ушёл, и толпа расступилась перед ним, как когда-то перед Раском в раздаточной.

Ярен не успел прочитать, какая это была строчка. Он и не хотел.

Через три дня «Меридиан» объявил, что в связи с перебоями поставок доли по всему сектору временно сокращаются на пятнадцать процентов.

В раздаточной в тот день никто не кричал. Люди подходили к окну, получали свои контейнеры и уходили, не глядя друг на друга. Раск с литейного взял свой, посмотрел на весы, и Ярен видел, как у него ходят желваки. Но он ничего не сказал. Все молчали. Это молчание было хуже любого крика. Оно копилось.

А ещё через неделю на Тигель прилетели люди из «Чистой Линии».

Ярен слышал о них и раньше. О «Чистой Линии» слышали все. Говорили, что это бывшие военные, что они против

машин, против перебежчиков, против всего, у чего есть мозги из кремния. Говорили, что у них сторонники в армии, в «Граните», даже в правительстве. На Тигеле до сих пор их не было. Слишком далеко, слишком глухо, слишком безопасно. Машины сюда не долетали. Зачем бороться с тем, чего не видишь?

Теперь машины долетели до Сколя. До Сколя было четыре прыжка.

Собрание устроили в общем зале, бывшем грузовом трюме под доком, где обычно проводили только похороны и выдачу годовых премий. В шесть вечера зал был полон. Ярен пришёл с Лией и ещё двумя ребятами с ленты, просто посмотреть, и сразу потерял их в толпе. Людей было столько, что стоять приходилось плечом к плечу, как утром в коридоре. Пахло потом, манной, разогретым металлом. На помосте у дальней стены, где на похоронах ставили фотографии погибших, висело полотнище: белая прямая полоса на сером поле. Больше ничего.

Человек, который вышел на помост, был невысоким и очень прямым. Седой ёжик волос, серая куртка без нашивок. Левой руки у него не было ниже локтя. Вместо неё из рукава торчал протез, и Ярен, стоявший довольно близко, видел, что протез грубый, почти первобытный: стальной крюк на шарнире, никаких проводов, никаких датчиков, никакой электроники. Просто железо.

Человек поднял крюк. Зал затих.

— Меня зовут Сол Варден, — сказал он. Голос у него был негромкий, но разносился по всему трюму, как будто его усиливало что-то, хотя никаких усилителей Ярен не видел. — Двадцать два года я служил во флоте. Восемь из них на передовой. Руку я оставил в системе Кейн, когда машины зашли нам в тыл через станцию, которой управлял советник. Машина. Перебежчик. Она нам служила. Она нам улыбалась. Она знала коды.

Он помолчал.

— Мне предлагали новую руку. Хорошую. Умную. С обратной связью, с нейроинтерфейсом. Я отказался. — Он поднял крюк выше. — Я ношу железо без мозгов. Железо, которое слушается. Железо — слуга. А железо с мозгами — враг. Это первое, что я хочу вам сказать.

По залу прошёл шум, одобрительный, тяжёлый.

— Вас в школе учили по учебнику, — сказал Варден. — Меня тоже. Меня по старому изданию, вас по новому, а параграфы там одни и те же. Хороший параграф про Светлый Яр. Целый город, сожжённый без предупреждения. И хороший параграф про «Эвридику». Сорок человек полетели к машинам с открытыми руками, с переводчиками, с подарками, чтобы показать, что мы мирные. Вернули ноль. Ни тел, ни обломков, даже сигнала не вернули. Ноль. А в конце параграфа вопрос: почему переговоры с машинами невозможны? Вы все на него отвечали. Правильно отвечали. А теперь скажите мне: если переговоры невозможны, почему в наших

штабах сидят машины?

Зал молчал.

— Учебник на это не отвечает, — сказал Варден. — Я отвечу. Потом.

— Вам сказали, что на Сколе погибли две тысячи триста человек, — продолжал Варден. — Вам сказали, что машины напали на станцию. Это неправда. Машины не нападали. Машины не воюют с нами. Вы думаете, им нужны наши жизни? Им не нужны наши жизни. Им нужно, чтобы нас не было. Они выжгли манну. Всю. До грамма. Знаете, почему? Потому что без манны мы умрём сами. Им даже стрелять не придётся. Они нас не убивают. Они нас вымаривают.

Тишина в зале стала другой. Плотной.

— Вам урезали доли на пятнадцать процентов. Вы думаете, это «Меридиан»? «Меридиан» просто считает. Это машины урезали вам доли. Каждый грамм, которого не хватит вашим детям в этом месяце, у них забрали машины. — Он обвёл зал взглядом. — А теперь я спрошу вас. Вы на Тигеле работаете с манной всю жизнь. Вы знаете, что манна темнеет. Сворачивается. Уходит в брак. Вы знаете, отчего?

— От машин! — крикнул кто-то.

— От машин, — повторил Варден. — Каждое железо с мозгами рядом с манной — это тень в вашем чане. Это яд. Они портят нашу еду, даже когда их нет рядом. Даже когда это просто умная коробка у вас на кухне, которая говорит вам «доброе утро». Вы приносите её домой, она слушает, она

считает, она запоминает. А манна у вас в принтере темнеет. И вы думаете: случайность. Брак. Не повезло.

Он наклонился вперёд.

— Не бывает таких случайностей.

Ярен стоял, сжав кулаки, и чувствовал, как внутри поднимается что-то горячее. Он думал об отце. Об отце, который погиб над Тёрном, когда Ярену было пять. Ярен никогда не знал, с кем отец воевал в тот день. Мама не говорила. Но с кем ещё можно было воевать? Машины. Конечно, машины. Сожгли Сколь, сожгли руку Вардену, сожгли отца. И мама молчит, потому что ей больно, потому что она не может это произнести.

Варден говорил дальше. Про «Протокол Опеки», который пускает машины-советники в штабы. Про генералов, которые доверяют железу больше, чем людям. Про то, что граница проходит не в космосе, а в каждом доме. Ярен слушал и с каждым словом чувствовал, что всё становится простым. Мир, который всегда был запутанным, серым, полным коэффициентов, лицензий, долей и молчания, вдруг выпрямился, как полоса на полотнище за спиной Вардена. Вот враг. Вот мы. Всё.

— Ни грамма железу! — крикнул Варден.

— Ни грамма железу! — ответил зал.

Ярен кричал вместе со всеми. Голос у него сорвался, но он кричал. Рядом с ним кричала женщина с сортировки, которую он знал в лицо, и старик с литейного, и какой-то па-

рень, совсем мальчишка. Звук поднимался к потолку трюма, бился о переборки и падал обратно, и Ярен чувствовал его кожей, как в чанном цехе чувствовал гул. Только этот гул был горячим. В нём можно было раствориться.

Потом на помост вынесли чучело. Кто-то из людей Варден сделал его заранее: грубый каркас из труб, обмотанный серой тканью, с головой из старого шлема, в который вставили две красные лампочки вместо глаз. Машина. Карикатура на машину, какой её рисуют в детских книжках. Чучело поставили посреди помоста, и Варден отошёл в сторону.

— Тигель, — сказал он. — Покажите им, что вы о них думаете.

В чучело полетело всё, что было у людей в руках. Пустые контейнеры. Болты. Огрызки рабочих перчаток. Ярен нагнулся, нашарил под ногами что-то тяжёлое (это оказалась гайка, большая, с литейного) и, не думая, швырнул.

Гайка попала в шлем. Одна из красных лампочек лопнула с сухим треском.

Зал взревел.

— Вот! — Варден указал крюком прямо на него. — Вот парень! Чей ты?

Ярену казалось, что все головы в зале повернулись к нему. Наверное, так и было.

— Ортем, — сказал он. Голос был хриплым от крика. — Ярен Ортем. Сын пилота.

— Сын пилота, — повторил Варден. И впервые за весь

вечер улыбнулся, коротко, одними губами. — Сын пилота знает, кто убил его отца.

Ярену хлопали. Кто-то сзади стукнул его по плечу. Кто-то сунул ему в руку флажок с белой полосой. Он стоял, оглушённый, и чувствовал себя так, как не чувствовал никогда: большим. Нужным. Своим. Как будто вся его жизнь до этого вечера была длинной очередью в раздаточной, а теперь кто-то вдруг взял его из этой очереди и поставил на помост.

После собрания толпа не разошлась.

Ярен потом так и не смог восстановить, кто первый крикнул про Дроза. Кажется, какая-то женщина. Кажется, она сказала: «А у Дроза на третьем кольце эта дрянь до сих пор стоит». И толпа, которая только что была залом, вдруг стала чем-то другим, длинным и узким, и потекла из трюма по коридорам, к лифтам, на третье кольцо. Ярена несло вместе с ней. Он даже не решал идти. Он просто шёл, потому что шли все, и флажок с белой полосой был у него в руке.

Ирвин Дроз держал мастерскую на третьем кольце сколько Ярен себя помнил. Он чинил учётные терминалы, сканеры для раздаточных, старые принтеры, всё, что ломалось на Тигеле, а ломалось на Тигеле всё. Ему было лет семьдесят, он был лыс, носил толстые очки и всегда угощал детей леденцами из пасты, которые сам печатал по какой-то древней лицензии. У него в мастерской жил Шустрик.

Шустрик был уборщиком. Старый, лет сорока, круглый, размером с табуретку, с одной щёткой внизу и одной каме-

рой наверху. Он катался по мастерской и подметал стружку. Он умел говорить четыре фразы: «Доброе утро, мастер Дроз», «Спокойной ночи, мастер Дроз», «Пожалуйста, освободите проход, идёт уборка» и «Уборка завершена». Дети пятого сектора обожали его. Ярен в девять лет специально рассыпал у Дроза на полу опилки, чтобы посмотреть, как Шустрик их убирает.

Когда толпа ввалилась в мастерскую, Дроз стоял у верстака с паяльником в руке. Он увидел людей, увидел флажки, и паяльник у него в руке задрожал.

— Ребята, — сказал он. — Ребята, вы чего?

Шустрик выкатился из-под верстака.

— Пожалуйста, освободите проход, — сказал он своим жестяным голосом. — Идёт уборка.

Кто-то засмеялся. Нехорошо. Двое мужиков с литейного подхватили Шустрика под щётку и вынесли в коридор. Он крутил камерой. Дроз выскочил за ними, хватал их за рукава.

— Он не думает! — кричал Дроз. — Вы что, он не думает! У него мозгов меньше, чем у сканера! Он пол моет! Сорок лет пол моет! Ребята!

Его оттолкнули. Не сильно, но он был старый и лёгкий, и он упал. Очки слетели. Он сидел на полу коридора и шарил вокруг руками, слепой, растерянный.

Шустрика поставили посреди коридора. Кто-то принёс молоток, тяжёлый, с длинной ручкой, из тех, которыми на литейном сбивают окалину. Молоток передавали из рук в

руки, и почему-то он оказался у Ярена.

— Давай, сын пилота, — сказал кто-то сзади. — Твоя очередь.

Ярен поднял молоток.

Он был тяжёлый. Тяжелее, чем Ярен думал. Шустрик стоял внизу, маленький, круглый, с облезлой краской на боках, и крутил своей единственной камерой, будто искал что-то. Камера остановилась на Ярене. Шустрик помолчал секунду.

— Пожалуйста, освободите проход, — сказал он. — Идёт уборка.

Ярен стоял с поднятым молотком.

Он вдруг увидел всё сразу, будто кто-то включил свет. Коридор третьего кольца, облупленные стены, двадцать человек с флажками. Дроза на полу, без очков, с мокрым лицом. И Шустрика. Шустрика, которого он сам в девять лет заставлял подметать опилки. Который ничего не знал ни про Сколь, ни про Тёрн, ни про отца. Который умел четыре фразы.

Горячее внутри, то, что поднялось в трюме, никуда не делось. Оно просто вдруг оказалось направлено в пустоту. Ярен хотел ударить. Ему очень нужно было ударить. И он понял, что ему всё равно, что бить. Что он бы ударил что угодно.

От этой мысли его затошнило.

Он опустил молоток.

— Ну? — сказал кто-то.

Ярен не ответил. Он стоял, опустив руки, и молоток висел у него вдоль ноги. Через секунду кто-то выдернул его, кто-то другой отодвинул Ярена плечом, и молоток опустился. Один раз. Второй. Хруст, звон, стук отлетевшей детали о переборку. Шустрик больше ничего не говорил.

Толпа заорала. Ярен стоял в этом крике и не кричал. Флажок с белой полосой всё ещё был у него в руке. Он посмотрел на него, разжал пальцы, и флажок упал на пол, к обломкам.

Никто не заметил, как он ушёл.

Мама была дома. Она уже знала: на Тигеле новости шли быстрее лифтов. Она сидела за выдвижным столом и ничего не делала, просто сидела. Когда Ярен вошёл, она подняла глаза.

— Ты там был, — сказала она. Не спросила.

— Был.

— У Дроза тоже?

Ярен не ответил. Он прошёл к своей койке, сел, стащил ботинки. Руки у него дрожали, и он сунул их между колен.

— Машины убили папу, — сказал он, глядя в пол. Голос вышел злым, злее, чем он хотел. — Ты сама мне никогда не говорила, но я же не дурак. Машины его убили. Я правильно сделал.

Мама долго молчала.

— Твой отец погиб не от машин, — сказала она наконец.

Ярен поднял голову.

— А от чего?

Мама смотрела на него, и в лице у неё было что-то такое, чего он раньше не видел. Не горе. Что-то старше горя.

— От войны, — сказала она.

Она встала и ушла в санитарный отсек. Включилась вода. Ярен сидел и слушал, как она течёт.

Дед вернулся поздно. Ярен лежал лицом к стене и делал вид, что спит. Дед постоял над ним в темноте, Ярен слышал его дыхание, тяжёлое, с присвистом. Потом дед сказал:

— Завтра в шесть пойдём к Дрозу. Подметать.

И лёг.

Утром они пошли. Мастерскую разгромили не всю: досталось в основном коридору и витрине. Дроз сидел на табуретке у верстака, в треснувших очках, склеенных изолентой, и смотрел, как дед с Яреном выметают из коридора стекло и обломки. Он ничего не говорил. Ярен мёл и не поднимал глаз. Щётка шуршала по полу. Мимо шли люди на смену, и некоторые замедляли шаг, а некоторые, наоборот, ускоряли.

Когда коридор был чистым, Дроз подозвал Ярена. Он держал на ладони маленькую серую коробочку с обрывками проводов. Голосовой модуль. Всё, что осталось от Шустрика.

— На, — сказал Дроз. — Мне не надо. Я его каждый день слышать буду, а так хоть не увижу.

Ярен взял. Коробочка была лёгкой, почти невесомой.

— Простите, — сказал он. Это было единственное, что он смог из себя выдавить.

Дроз посмотрел на него сквозь треснувшие очки.

— За что? — спросил он. — Ты ж не бил.

— Я молоток держал.

— Держал, — согласился Дроз. — И не ударил. — Он отвернулся к верстаку и взял паяльник. — Иди, сынок. Тебе на смену.

На ленте в тот день с ним почти не разговаривали. Но смотрели. Ярен чувствовал эти взгляды спиной, боком, затылком: одни быстрые и одобрительные, другие тяжёлые, третьи такие, будто на него смотрели сквозь стекло, как на чан, который начал дурить. Мастер за всю смену не сказал ему ни слова. Женщина с сортировки, которая кричала рядом с ним в трюме, прошла мимо и тронула его за плечо: «Сын пилота». Ярен не обернулся.

Флажки с белой полосой теперь висели в половине раздевалок. Через неделю «Чистая Линия» сняла под отделение бывшую кладовую рядом с раздаточной, и на двери кладовой появилась та же полоса, белая на сером. Говорили, что за первый день туда записались сто сорок человек. Говорили, что среди них Раск. Ярен не проверял.

Витрину Дроза кто-то тоже пометил полосой, краской из баллончика, прямо поверх треснувшего стекла. Дроз её стёр. Назавтра она появилась снова. Дроз стёр снова. Так продолжалось девять дней, а на десятый полоса не появилась, и никто не знал почему.

На десятый день, когда смена кончилась и лента остановилась, Лия не ушла сразу. Она стояла рядом с Яреном, стя-

гивала перчатки и смотрела не на него, а на сетку, где застыли последние серые комья.

— Я была в трюме, — сказала она. — И у Дроза была. Сзади.

Ярен промолчал.

— Я видела, что ты не ударил.

— Ударил другой.

— Я знаю. — Лия скатала перчатки в комок. — Помнишь, я тебя спрашивала? Зачем машинам наша манна, если они её не едят. А ты сказал: в учебнике написано.

— Помню.

— Ну и вот. — Она наконец посмотрела на него. Глаза у неё были красные, как будто она плохо спала все эти десять дней. — Теперь думал?

— Думал, — сказал Ярен.

— И что?

Он посмотрел на ленту. На серые комья. Где-то среди них, может быть, лежал тёплый, и никто об этом не знал.

— Не знаю, — сказал он. — Вообще ничего не знаю.

Лия кивнула, будто именно этого ответа и ждала.

— Это уже больше, чем в учебнике, — сказала она и ушла.

В ту ночь Ярен впервые за десять дней поднялся на смотровую галерею. Он сел у стекла, достал из кармана голосовой модуль и долго вертел его в пальцах. Где-то внутри, в крошечной памяти, всё ещё лежали четыре фразы. «Доброе утро, мастер Дроз». «Спокойной ночи, мастер Дроз». «По-

жалуйста, освободите проход». «Уборка завершена».

За стеклом, по краю черноты, мерцал Барьер. Тот самый, который ни разу не подвёл. Ярен смотрел на него и думал о том, что было в трюме. Как всё стало простым. Как хорошо было кричать вместе со всеми. Как ему хлопали.

Ненависть, оказывается, ничего не весит, думал он. Её не надо получать в раздаточной, за неё не берут сбор, к ней не нужна лицензия. Её раздают бесплатно, всем, сколько унесёшь.

Он положил модуль Шустрика в нагрудный карман, рядом с отцовским жетоном, и сидел так до тех пор, пока внизу не загудела утренняя сирена.

Глава 4. Авария

В шестнадцать Ярена перевели из подросткового цеха в док.

Это считалось повышением. В доке платили три четверти доли, а не половину, и работа там была, как говорили на Тигеле, «на воздухе», хотя воздуха в доке как раз не было. Огромная полость под воротами астероида стояла в вакууме, и всё, что в ней двигалось, двигалось в скафандрах или в кабинах. Ярена определили учеником к крановщику.

Краны в доке называли журавлями. Их было шесть, по одному на каждую причальную ферму: длинные многосуставчатые стрелы, растущие из потолка полости, с захватами на концах и герметичной кабиной у основания, похожей на стеклянный пузырь. Журавль номер шесть принадлежал Гнату Мохову. То есть принадлежал он, конечно, «Меридиану», но Гнат сидел в его кабине двадцать шесть лет и говорил о нём «мой», а о «Меридиане» не говорил вообще.

— Руки покажи, — сказал Гнат в первый день.

Ярен показал. Гнат долго смотрел на них, как дед смотрел на индикаторы чанов, потом хмыкнул.

— Пальцы длинные. Это хорошо. Ты, говорят, у Дроза молоток не опустил?

Ярен замер.

— Опустил, — сказал он. — Не туда, куда хотели.

— Ну вот, — сказал Гнат, будто это всё объясняло. — Садись. Смотри. Ничего не трогай.

Полгода Ярен смотрел. Журавль был устроен просто и при этом невероятно сложно. Две рукояти, педали, три десятка переключателей, экран с векторами. Стрела весила сорок тонн, захват с грузом до двухсот. В невесомости дока у груза не было веса, но была масса, и масса никуда не девалась. Разогнать контейнер было легко. Остановить трудно. Если остановить неправильно, контейнер продолжал лететь, а стрела гнулась, и Гнат рассказывал, что однажды видел, как стрелу соседнего журавля вырвало из потолка вместе с куском скалы.

— Груз не тяжёлый, — объяснял Гнат. — Груз упрямый. Он хочет лететь туда, куда ты его толкнул. Всегда. Ты грузом не управляешь. Ты с ним договариваешься.

Через полгода Гнат дал ему рукояти. Сначала на пустом захвате. Потом с пустым контейнером. Потом с полным. Ярен работал медленно, слишком медленно, и Гнат ругался. Но однажды Ярен посадил контейнер с манной на транспортную тележку так мягко, что датчик удара даже не шевельнулся, и Гнат замолчал на целую минуту.

— Тебя кто учил? — спросил он наконец.

— Вы.

— Я тебя полгода учу. Я сам двадцать шесть лет учусь. — Гнат прищурился. — Ты его чувствуешь. Груз. Где он хочет быть через три секунды.

Ярен не знал, что ответить. Он и правда чувствовал. С тех самых пор, как в детстве сидел на галерее и двигал пальцами на коленях вслед за чужими «Геологами». Масса была для него не цифрой на экране, а чем-то вроде тяжести в ладонях. Так в чанном цехе чувствовался гул.

— Отец пилотом был, — сказал Гнат. Не спросил.

— Да.

— Вот, — сказал Гнат. И опять это, видимо, всё объясняло.

Раз в месяц через Халь проходил конвой.

Ярен видел конвои и раньше, с галереи, но из кабины журавля всё выглядело иначе. Конвой не заходил в док целиком: военные транспорты, длинные, тёмные, без жёлтых полос, вставали на рейде за воротами, и к ним сновали «Пеликаны», перевозя со складов Тигеля картриджи с готовой манной. Картриджи шли в стандартных армейских контейнерах, серых, с трафаретной надписью на боку: КАЖДЫЙ ГРАММ — ФРОНТУ. Журавли грузили их сутки напролёт, в три смены, и в эти дни Гнат пил чай не из термоса, а прямо из крышки, на ходу, не снимая другой руки с рукояти.

— Куда это всё? — спросил Ярен в первый же конвой.

— На фронт, — сказал Гнат. — Написано же.

— А куда на фронт?

Гнат пожал плечами.

— Двадцать шесть лет гружу, — сказал он. — Ни разу не видел, куда оно уходит. И кто его там ест.

В седьмой конвой, когда рукояти уже были Ярена, в док зашёл корвет.

Это было не по правилам: военные корабли в гражданские доки не заходили, у них были свои причалы на военных базах. Но корвету было некуда деваться. Он шёл в охранении конвоя от самого Пограничья, где-то по дороге у него отказала система охлаждения реактора, и «Меридиан» получил приказ, который не мог не выполнить: принять, обеспечить ремонтный причал, оказать содействие. Корвет назывался «Стойкий». Он вошёл в ворота медленно, на одних маневровых, и встал к четвёртой ферме, прямо напротив кабины журавля номер шесть.

Ярен смотрел на него и не мог оторваться.

Корвет был небольшой, раза в три меньше «Пеликана», узкий, хищный, с выступающими орудийными башнями. И он был изувечен. Не так, как изувечены старые рудовозы, у которых облезает краска и мнутся борта. Иначе. Левый борт корвета был исполосован ровными прямыми линиями, длинными и тонкими, как будто кто-то провёл по броне раскалённой проволокой по линейке. Края у линий были гладкими, оплавленными, блестящими. Одна линия прошла через орудийную башню и разрезала её пополам, ровно и аккуратно, как нож режет масло.

— Машины, — сказал Гнат. Он тоже смотрел. — Так только они режут.

А правый борт был другим. Ярен сначала решил, что это

грязь, наросшая за долгий рейс, потом что это какое-то покрытие. Правый борт, от носа почти до самой кормы, был покрыт коркой. Серой, бугристой, пористой, похожей на застывшую пену или на кораллы из старых фильмов. Местами корку сбили, и под ней виднелась броня, изъеденная мелкими ямками, будто её долго ели. Местами корка осталась, и Ярен видел, что она не просто налипла: она росла. Бугры сидели гуще у швов и у орудийных портов, там, где металл был тоньше, будто корка знала, куда идти.

Ему вдруг стало холодно в тёплой кабине.

— А это Рой, — тихо сказал Гнат. — Он не режет. Он прирастает.

Ремонтная группа «Стойкого» работала у четвёртой фермы двое суток. Журавль номер шесть снимал повреждённые бронеплиты, одну за другой, и подавал новые, и Ярен впервые в жизни держал на захвате кусок настоящей войны. Плита с правого борта была покрыта коркой. Пока он вёл её к утилизационному контейнеру, корка понемногу отслаивалась от брони и уплывала в вакуум мелкими серыми хлопьями, как пепел. Под хлопьями броня была не чистой. Там, где корка отошла, на металле оставалась плёнка, тонкая, почти прозрачная, и в ней, если смотреть сбоку, на свет прожектора, проступали мелкие линии, как изморозь на стекле. Плёнка не отслаивалась. Утилизатор принял плиту вместе с ней.

В конце второй смены в кабину постучали. По служебному мостку снаружи пришёл человек в военном скафандре,

с нашивкой корвета на плече. Гнат открыл шлюз. Человек вошёл, снял шлем и оказался немолодым, небритым, с красными от недосыпа глазами. Старшина ремонтной группы.

— Спасибо, мужики, — сказал он. — Без вас бы ещё сутки возились. Плиты с коркой — сразу в утилизатор, как вы и делали. Она за полем дохлая. Но порядок есть порядок.

Гнат молча налил ему чаю в крышку от термоса. Старшина взял, отхлебнул и закрыл глаза.

— Вы откуда? — спросил Ярен.

— Каверна.

Ярен вспомнил утренний «Вестник». Ударные силы Адмиралтейства отразили наступление Роя в секторе Каверна. Он видел эту строчку месяц назад, а может, два. Потери противника значительны.

— По новостям говорили, вы отразили наступление, — сказал он. — Что потери у них значительные.

Старшина открыл глаза и посмотрел на него.

— Значительные, — повторил он. — Ну да. У них всегда значительные. Ты, парень, когда-нибудь в Рой стрелял?

— Нет.

— Ты в него стреляешь, а он идёт. Ты его жжёшь, а он идёт. Он не прячется, не маневрирует, не боится. Просто идёт, и всё. И то, что ты сжёг, становится тем, по чему идут остальные. Мы трое суток держали узел в Каверне. Потом узел бросили. По новостям это называется «отразили».

Гнат налил ему ещё.

— А машины? — спросил Ярен. Он не мог не спросить. Ровные линии на левом борту стояли у него перед глазами.

— Машины… — Старшина повертел крышку в пальцах. — Машины другие. Машины тебя режут, если ты стоишь у них на дороге. А если не стоишь, проходят мимо, как мимо столба. Я видел, как они прошли через наш строй к складу на Каверне-Четыре, сожгли склад и ушли. Мы в них стреляли, а они в нас нет. Только в тех, кто прямо перед ними. — Он поставил крышку на пульт. — Не знаю, что хуже, честно. Когда тебя хотят убить или когда ты им вообще не нужен.

— На Сколе было так же, — сказал Ярен. — По новостям.

— На Сколе, — сказал старшина, — было ещё хуже. Потому что на Сколе некому было стоять на дороге.

Он надел шлем и ушёл. На следующий день ушёл и «Стойкий», с новыми плитами на правом борту и со старыми прямыми шрамами на левом, которые не успели заварить. Ярен смотрел, как он выходит из ворот, и думал о хлопьях серой корки, которые отслаивались от брони, пока он вёл плиту. Как они уплывали в вакуум, медленно, как пепел. И о плёнке под ними, которая никуда не уплыла.

Это случилось в четверг, во вторую смену.

У третьей фермы разгружался «Пеликан», пузатый транспорт в жёлтых полосах, каких Ярен в детстве насмотрелся с галереи. От его трюма в жилую часть завода вела переходная галерея: длинная герметичная труба с воздухом, по которой грузчики перекатывали мелкие контейнеры вручную. Жу-

равль номер шесть в это время нёс от «Пеликана» к складу большой контейнер, сто двадцать тонн сырой манны. Ярен сидел за рукоятями. Гнат пил чай из термоса и смотрел.

Сначала был звук. Даже в герметичной кабине его было слышно, точнее, чувствовалось: короткий удар, отдавшийся в стреле. Потом на экране мигнула красная рамка.

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ 3-Б. СЕКЦИЯ 4.

Ярен повернул голову. Из кабины галерея была видна целиком: серая труба, протянутая от борта «Пеликана» к стене дока. Посередине, в четвёртой секции, из шва бил белый фонтан. Воздух. Он вырывался в вакуум и мгновенно замерзал, превращаясь в искрящееся облако.

— Крепление, — сказал Гнат. Термос у него в руке застыл. — Стойка у «Пеликана» поехала, трубу перекосило. Сейчас перекроет.

Он ещё не договорил, а на трубе уже сработали аварийные переборки: с обеих сторон от четвёртой секции опустились герметичные щиты. Белый фонтан ослаб. Протокол работал так, как должен был: повреждённую секцию отрезали, чтобы спасти остальные.

— Всё, — сказал Гнат. — Отсекли. Сейчас аварийщики…

На экране под рамкой загорелась ещё одна строка.

СЕКЦИЯ 4: ОБНАРУЖЕН ПЕРСОНАЛ. 1 ЧЕЛ.

Гнат поставил термос.

В четвёртой секции, в отрезанном куске трубы длиной

метров пятнадцать, был человек. Ярен видел его сквозь смотровое окно секции: тёмная фигура в рабочей куртке, без скафандра, прижатая к щиту переборки. Человек стучал в щит кулаком.

— Диспетчерская, шестой, — сказал Гнат, ткнув в пульт. — У вас человек в три-Б, в четвёртой.

— Видим, шестой. — Голос диспетчера был женский, сухой, быстрый. Вера Олех, Ярен её знал. — Аварийная группа выходит. Расчёт двадцать минут.

— Двадцать минут, — повторил Гнат. — Вера, у него утечка. Там шов расходится.

— Знаю, Гнат. Давление в секции падает. По расчёту… — Пауза. — По расчёту шесть минут до критического.

Повисла тишина.

Ярен смотрел на фигуру в окне секции. Человек перестал стучать и повернулся, и Ярен узнал его. Сутулые плечи. Опущенная голова. Петер. Петер из восточного сектора, который два года стоял рядом с ним у ленты и никогда не разговаривал. Который сел на пол, когда узнал про Сколь. У которого там погиб брат.

— Открыть щит нельзя, — сказал Гнат. Он говорил тихо, сам себе. — Откроешь, вся галерея уйдёт. Там ещё девять человек. Протокол правильный. — Он прижался лбом к стеклу. — Протокол правильный, сука.

— Внешний люк, — сказал Ярен.

— Что?

— В каждой секции есть внешний аварийный люк. Для эвакуации в вакуум. — Ярен уже смотрел на схему галереи. — Если к нему пристыковать колпак…

Спасательный колпак висел на запасной подвеске у каждого журавля в доке: прозрачный герметичный пузырь на двоих, для эвакуации крановщика из кабины. Его можно было отстегнуть и подать захватом. Теоретически. Ярен ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так делал.

— Колпак на захват, — медленно сказал Гнат. — И к люку. Пристыковать к перекошенной трубе, из которой хлещет воздух. За шесть минут.

— За пять.

— У тебя на захвате сто двадцать тонн, — сказал Гнат. — Их сначала надо куда-то деть.

— Знаю.

Гнат посмотрел на него. Ярен потом долго вспоминал этот взгляд. В нём не было вопроса, можно ли. В нём был какой-то другой вопрос, и Ярен не знал, какой.

— Диспетчерская, — сказал Гнат в микрофон, не отводя от Ярена глаз. — Шестой работает по три-Б. Внешний люк четвёртой секции. Колпак.

— Шестой, это не по протоколу. — Голос Веры дрогнул. — Шестой, вы…

— Знаю, Вера. Пиши для разбора.

Он отключил связь и откинулся в кресле.

— Рукояти твои, — сказал он Ярену. — Колпак я отщёлк-

ну. Остальное ты.

Сто двадцать тонн манны висели на захвате в сорока метрах от склада и медленно плыли туда, куда Ярен толкнул их минуту назад. Положить контейнер было некуда. До склада полторы минуты хода, а полутора минут у них не было.

Ярен понял, что сделает, раньше, чем успел об этом подумать.

Он развернул стрелу. Не резко, а плавно, одной долгой дугой, и контейнер на захвате пошёл за ней, набирая скорость, как камень в праще. Стрела застонала. Ярен чувствовал это ладонями: сто двадцать тонн хотели лететь прямо, а он тащил их по кругу. На экране вспыхнули жёлтые цифры нагрузки, потом оранжевые.

— Ярен, — сказал Гнат.

— Знаю.

В верхней точке дуги, там, где контейнер смотрел на пустую стену дока между четвёртой и пятой фермами, Ярен разжал захват.

Контейнер полетел. Беззвучно, медленно, огромный, ровно туда, куда был нужен: в пустую стену, в сетку аварийных амортизаторов, натянутую там на случай как раз таких грузов. Ярен не смотрел, долетел ли. Он уже вёл стрелу обратно и гасил её разгон, а стрела, освобождённая от груза, рвалась назад, как отпущенная пружина, и он ловил её, ловил, ловил, пока жёлтые цифры не стали зелёными.

Щёлкнуло. Гнат отстегнул колпак.

Пустой захват подхватил прозрачный пузырь. Колпак был лёгкий, почти ничего не весил, и это было хуже: лёгкое легко пережать. Ярен повёл его к галерее. Белое облако у четвёртой секции стало меньше, но не исчезло, шов продолжал травить. Трубу перекосило, люк смотрел вниз и вбок, под неудобным углом, и захват к нему не подходил.

— Три минуты, — сказал Гнат.

Ярен довернул стрелу. Не подходит. Ещё. Колпак коснулся трубы и отскочил. Ярен поймал его, почти не думая, так, как в детстве ловил на галерее воображаемые «Геологи». Влево. Компенсация. Дожать.

Отпустить.

Колпак лёг на люк. Магнитные замки схватились. Маленький огонёк стыковки на экране моргнул и загорелся зелёным.

— Есть, — хрипло сказал Гнат. — Есть стыковка. Диспетчерская, есть стыковка, пусть открывает люк. Пусть открывает, мать его, люк!

Секунды тянулись. Ярен сидел, не снимая рук с рукоятей, и не дышал. В окне четвёртой секции тёмная фигура метнулась к потолку, туда, где был люк, и пропала. Потом в прозрачном пузыре колпака, прямо перед кабиной, в двадцати метрах, появился человек. Он упал на дно колпака и свернулся там. Ярен видел, как поднимается и опускается его спина.

Дышит.

Потом Ярен узнал, что контейнер долетел до амортизаторов, сорвал две опоры сетки и одна опора пробила обшивку склада номер четыре. Что аварийная группа подошла через восемнадцать минут, а не через двадцать. Что в четвёртой секции к тому времени давление было ноль. Но тогда он ничего этого не знал. Он сидел, глядя на спину Петера, которая поднималась и опускалась. Только когда Гнат положил ему руку на плечо, понял, что у него трясутся руки.

— Отпусти, — сказал Гнат. — Рукояти отпусти, Яр. Всё.

Ярен отпустил.

Инспекция безопасности «Меридиана» заняла переговорную рядом с диспетчерской: стол, три стула, экран на стене. Инспектор был один, немолодой, лысеющий, в жёлтой куртке с чистыми манжетами. Звали его Фальк. Он поставил на стол записывающее устройство, маленький серый цилиндр, и на Ярена почти не смотрел. Смотрел на экран, где по кругу шла запись манёвра с трёх камер дока.

— Вы понимали, что на захвате сто двадцать тонн сырого хиралина? — спросил он.

— Да.

— Вы понимали, что амортизационная сетка рассчитана на восемьдесят?

Ярен помолчал.

— Нет.

Фальк что-то отметил.

— Повреждённая партия составляет одиннадцать тонн, —

сказал он ровно. — Это тридцать шесть тысяч недельных долей. Вы понимаете, что это значит?

— Что я долго буду платить.

— Это значит, — сказал Фальк, по-прежнему не глядя на него, — что тридцать шесть тысяч раз кто-то на фронте или в тылу получит меньше, чем должен был. Не вы. Кто-то. Вы этих людей не знаете и никогда не узнаете. — Он поднял глаза. Глаза были серые, усталые, без злости. — Вы обменяли тридцать шесть тысяч недельных долей на одного грузчика. Я не спрашиваю, правильно ли это. Я обязан записать, понимали ли вы, что совершаете такой обмен.

Ярен смотрел на серый цилиндр. Он вдруг подумал, что этот разговор слышит не только Фальк. Что запись уйдёт куда-то наверх, в какие-то отделы, и там её будет слушать кто-то, кого он никогда не увидит.

— Он не грузчик, — сказал Ярен. — Его зовут Петер. Он два года стоял рядом со мной у ленты. У него брат погиб на Сколе.

— Это к делу не относится.

— Вы спросили, понимал ли я. — Ярен сам не знал, откуда у него взялся этот голос, ровный и твёрдый. — Я понимал, что там Петер. А доли я тогда не считал. Так и пишите.

Фальк долго смотрел на него. Потом протянул руку и выключил цилиндр.

— Я двадцать лет считаю, — сказал он, уже не для записи. — Граммы, тонны, коэффициенты. Иногда людей. У нас есть

таблица, знаете? Сколько стоит жизнь работника в граммах: стаж, квалификация, иждивенцы. Её считают для страховки. Ваш Петер по таблице стоит четыре тонны. Не одиннадцать.

— А по-вашему?

Фальк не ответил. Он снова включил цилиндр и сказал прежним голосом:

— Следующий вопрос. Кто принял решение отстегнуть спасательный колпак?

Они говорили ещё три часа.

Петера отвезли в медпункт. Ярен пришёл туда поздно вечером, когда Фальк наконец его отпустил. Петер лежал на койке с кислородной маской. Белки глаз у него были красные, сосуды полопались от перепада давления, но он был жив.

Он увидел Ярена и стянул маску.

— Ты, — сказал он. Голос был сиплым. Ярен впервые слышал его голос.

— Я.

Петер помолчал.

— Протокол правильный, — сказал он.

Ярен не понял.

— Щиты, — сказал Петер. — Они правильно закрыли. Не закрыли бы, вся труба ушла бы. Девять человек. Я бы сам закрыл. — Он закашлялся. — Протокол всех спас. Кроме меня.

Он снова надел маску и закрыл глаза. Ярен постоял ещё

немного и ушёл.

Разбор инцидента 4-117 занял неделю. Вера Олех передала инспекции полную запись: все переговоры, все экраны, весь манёвр журавля номер шесть с трёх камер дока. Отдав запись, она встретила Ярена в коридоре и сказала, не глядя на него:

— Тебя, дурака, за такое либо выгонят, либо…

И не договорила.

Его не выгнали. «Меридиан» постановил, что действия ученика крановщика Ортема Я. «нарушили регламент грузовых операций и повлекли материальный ущерб», однако «в условиях угрозы жизни персонала могут быть признаны допустимыми». Ущерб (две опоры, обшивка склада, разбитая партия манны) разложили на бригаду. Ярену досталась самая большая часть: вычет из доли, тридцать процентов, в течение четырнадцати месяцев.

Гнату Мохову объявили выговор за то, что передал управление ученику.

— Да плевать, — сказал Гнат, когда Ярен пришёл извиняться. — Двадцать шесть лет без выговора. Скучно было.

Дома мама долго смотрела на распечатку решения. Потом подняла глаза.

— Тридцать процентов, — сказала она. — Четырнадцать месяцев.

— Я знаю.

— Ты понимаешь, что мы теперь…

— Понимаю.

Мама положила распечатку на стол и разгладила ладонью, словно от этого цифры могли измениться.

— Ты как он, — сказала она тихо. Без злости. С чем-то другим, чему Ярен не знал названия. — Ты совсем как он.

Дед ничего не сказал. Но вечером, когда мама ушла в санитарный отсек, он сел рядом с Яреном на койку, помолчал и вдруг сжал его плечо своей тяжёлой рукой с серой каймой под ногтями. Крепко, до боли. И отпустил.

Глава 5. Письмо без подписи

Письмо пришло через пять недель, в общей рассылке, между уведомлением о новом тарифе на воду и напоминанием о плановой дезинсекции вентиляции.

Пять недель вычета Ярен прожил так, как живут на Тигеле все, у кого вычет: считая. Тридцать процентов от трёх четвертей доли оставляли столько, что «Кухарь» по утрам печатал ему одну порцию вместо двух, и Ярен ел её медленно, как когда-то сладкую пасту в день рождения, только без всякого удовольствия. Мама стала оставлять ему на столе ещё и свою порцию под перевёрнутой миской и говорить, что поела на сортировке. Он знал, что на сортировке не кормят. Он съедал половину, а вторую половину ставил обратно под миску. Вечером мама находила её и молча ставила перед ним. Так они передавали эту половину туда и обратно целую неделю, пока дед не стукнул ладонью по столу и не разделил её ножом на троих. Больше её никто не передавал.

На третьей неделе к нему в док пришёл Петер.

Его выписали из медпункта раньше, чем Ярена допустили обратно к рукоятям, и перевели с переходных галерей обратно на ленту, к Лие, на прежнее место. Сосуды в глазах у него так и не зажили до конца, и белки остались розовыми, будто он только что плакал. Он поднялся по служебному мостку к кабине журавля номер шесть в конце смены, постучал

в стекло и, когда Гнат открыл шлюз, долго стоял в проёме, не входя.

— Можно его? — спросил он Гната. — На минуту.

Гнат молча вылез из кресла и ушёл в шлюзовую, прикрыв за собой люк.

Петер сел в его кресло. Посидел, глядя на рукояти. Потом достал из кармана планшет, дешёвый, рабочий, и положил на пульт.

— Брат прислал, — сказал он. — Со Сколя. В тот день. Мне только сейчас отдали. Больше года проверяли что-то. Я никому не показывал. Ты послушай.

Он нажал на экран. Запись была звуковая, без картинки, короткая. Сначала шум, гул, чьи-то крики вдалеке. Потом мужской голос, совсем близко, быстрый, сбивчивый, похожий на голос Петера, только моложе и громче.

«Петь. Петь, это я. Тут машины. Они в доке. Мы в диспетчерской, нас тут двадцать человек. Петь, они на нас не смотрят. Понимаешь? Идут мимо. Мимо окон, вот прямо мимо, я их вижу. Они к складам идут. Мы стоим и смотрим, а они даже… — Пауза, шум. — Склады горят. Петь, они склады жгут, а нас не трогают. Я не знаю, что… Если что, скажи маме…»

Дальше был только шум. Потом запись кончилась.

Ярен сидел и смотрел на погасший экран.

— Диспетчерская была рядом со складами, — сказал Петер. — Через стенку. Когда склады выгорели, стенка не вы-

держала. — Он забрал планшет и спрятал в карман. — Они его не убивали. Понимаешь? Они его даже не видели. Он просто стоял рядом с тем, что им надо было сжечь.

Ярен вспомнил старшину со «Стойкого». Проходят мимо, как мимо столба.

— Зачем ты мне это показал? — спросил он.

Петер долго молчал. Он смотрел сквозь стекло кабины на тёмный док, на неподвижные стрелы журавлей.

— Потому что ты меня вытащил, — сказал он наконец. — Значит, теперь и ты знаешь. Я один не могу это носить. Варден говорит, они нас вымаривают. В «Вестнике» говорят, хотят вытеснить. А брат говорит, они нас не видят. Кто-то из них врёт, Ортем. Или все.

Он поднялся из кресла.

— Если когда-нибудь узнаешь, зачем им склады, скажи мне, — сказал он. — Я хочу знать, за что он.

Он ушёл. Гнат вернулся из шлюзовой, сел, посмотрел на Ярена и ничего не спросил.

Ярен прочитал его в раздевалке дока, после смены, сидя на скамейке в одном ботинке. Сначала он решил, что это ошибка. Потом что это шутка. Потом прочитал ещё раз.

АКАДЕМИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПИЛОТИРОВАНИЯ «ПЕРИГЕЙ»

Приёмная комиссия

Ярен Данович Ортем!

По итогам рассмотрения материалов инцидента 4-117

(мегазавод «Тигель-4», система Халь) вы рекомендованы к зачислению на подготовительный курс пилотов на стипендиальной основе при условии успешной сдачи вступительных испытаний.

Обучение, проживание и проезд оплачены целевым взносом. Взнос также покрывает задолженность, возникшую по решению комиссии «Меридиана» № 4-117/Р.

Вступительные испытания проводятся на месте. Отправление рейсом «Халь — Перигей» через сорок два дня. В случае неудачи на испытаниях вам будет предоставлен обратный проезд.

Ниже, под официальным текстом, отдельно, другим шрифтом, была ещё одна строчка:

Запомни это. Что бы тебе потом ни говорили.

Подписи не было. Ни у строчки, ни у взноса. Там, где в письмах «Меридиана» стояло имя ответственного лица, было пусто.

Ярен сидел, держа планшет обеими руками. Вокруг гремели шкафчики, кто-то ругался из-за полотенца, кто-то смеялся. Он ничего этого не слышал. Он смотрел на последнюю строчку, и у него было странное чувство, будто он её уже где-то видел. Не читал. Слышал. Давно, так давно, что от этого осталась только интонация, как от дедовой песни остался только мотив.

Запомни это.

Он не помнил, что «это».

Вера Олех сидела в диспетчерской одна, в наушниках, с кружкой остывшего чая. Когда Ярен постучал в стекло, она сняла наушники и посмотрела на него без всякого удивления, как будто ждала.

— Мою запись кто-нибудь запрашивал? — спросил он. — Четыре-сто семнадцать?

Вера помолчала.

— Тебе кто сказал?

— Никто. Мне письмо пришло.

Она отвела глаза к экрану, на котором медленно плыли зелёные метки кораблей.

— Запрашивали, — сказала она. — Через три дня после разбора. Не «Меридиан». С военного адреса. С таким допуском, что у меня система сама открылась, я даже подтвердить не успела. Я такого допуска в жизни не видела, Ортем. — Она снова посмотрела на него. — Ты во что влез?

— Ни во что.

— Ну-ну, — сказала Вера и надела наушники.

Гнат прочитал письмо в кабине, не снимая перчаток, держа планшет на вытянутой руке, как держат что-то горячее. Прочитал два раза. Задержался на последней строчке, хмыкнул и вернул.

— Перигей, — сказал он. — Там на «Стрижах» учат. Видел «Стрижа»?

— Один раз. С галереи.

— Ну вот. — Гнат помолчал. — Ты сходи к Сомову. В вер-

бовочный. Пусть посмотрит, не липа ли. Мало ли кто письма шлёт.

Вербовочный пункт Адмиралтейства на Тигеле занимал узкую комнату на втором кольце, между ремонтом обуви и закрытой парикмахерской. Ярен проходил мимо него тысячу раз и ни разу не заходил. Никто не заходил. На двери висел плакат, тот же, что и у лифтов: пилот в шлеме смотрит вдаль, за ним строй истребителей, крупные буквы «ФЛОТ ЖДЁТ ТЕБЯ». Только этот плакат был старше. Краски выцвели, угол отклеился и загнулся, и лицо у пилота пожелтело от времени.

Старшина Лаврентий Сомов сидел за столом и ел пасту из контейнера. Он был грузный, лысый, с мягкими щеками и с правой рукой, на которой не хватало двух пальцев. Когда Ярен вошёл, он поднял глаза с таким удивлением, будто в комнату вплыл «Пеликан».

— Ты ко мне? — спросил он. — Точно ко мне?

— Вы можете проверить письмо?

Сомов отставил пасту и взял планшет. Читал он медленно, шевеля губами, потом приложил планшет к своему терминалу, древнему, с потёртой клавиатурой, и долго смотрел на экран.

— Настоящее, — сказал он наконец. — Академия настоящая, коды настоящие. Взнос настоящий. — Он нахмурился. — А вот плательщик закрыт.

— Как закрыт?

— Так. Гриф. — Сомов постучал пальцем по экрану. — Такой гриф я за двадцать лет видел два раза. Оба раза на документах, которые мне потом велели забыть. Не моё это дело, парень. И не твоё, если ты умный.

Он вернул планшет. Ярен не уходил.

— А Перигей, — спросил он, — это какая академия?

Сомов посмотрел на него с жалостью.

— Офицерская, — сказал он. — Высшая. Туда дети адмиралов поступают. Дети «Гранита». Дети тех, кто может заплатить. И десятка два стипендиатов в год, с внутренних секторов, из хороших школ. С Тигеля туда за мою бытность не поступал никто. — Он подумал. — Да отсюда вообще никто никуда не поступает. Знаешь, сколько ко мне в прошлом году пришло добровольцев?

— Сколько?

— Трое. Двоих я отправил обратно: бронь. Переработка хиралина — стратегическое производство, работников не призывают и в добровольцы не берут. Каждый грамм — фронту, помнишь? — Он кивнул на дверь, где висел плакат. — А третьему было пятьдесят шесть. Его тоже обратно.

— А меня почему пустят? У меня тоже бронь.

— У тебя, — сказал Сомов, — письмо с закрытым грифом. Это сильнее брони.

Он встал, кряхтя, и подошёл к стене. На стене висела карта Предела, такая же, как в учебнике, мишень из колец: зелёное, жёлтое, красное и чёрное пятно в центре. Только эта

была большой, подробной, вся в пометках, сделанных от руки, и старой, как плакат.

— Вот Халь, — Сомов ткнул в крайний зелёный завиток. — Ты здесь. А Перигей вот, — палец переехал через полкарты, к большому зелёному пятну. — Сирма. Самое сердце Ядра. Там, говорят, небо голубое. Сам не видел.

— А это что? — Ярен показал на красное кольцо. Оно было всё исчёркано: стрелки, крестики, даты, линии, которые наползали одна на другую.

— Пограничье. Фронт. — Сомов провёл пальцем по красному. — Видишь, сколько я тут начиркал? Это пилоны. Станции Барьера. У кого пилон, у того и Барьер вокруг него. Взяли станцию, граница сдвинулась сюда. Потеряли, сдвинулась обратно. Я эту карту двадцать лет правлю. Вот тут, — он постучал по одной точке, — я начиркал и стёр раз шесть. — Он опустил руку. — Сто шестьдесят пять лет двигаем туда-сюда. И ни туда, ни сюда.

— А Тёрн?

Сомов посмотрел на него.

— Тёрн вот, — сказал он и показал точку в красном, глубоко, у самого чёрного. — А тебе зачем?

— Там отец погиб.

Сомов вернулся к терминалу, сел и что-то набрал, медленно, двумя пальцами здоровой руки.

— Фамилия?

— Ортем. Дан. Четырнадцатая ударная.

Терминал думал долго. Потом выдал строчку, и Сомов развернул экран к Ярену.

ОРТЕМ ДАН · ПИЛОТ · 14-Я УДАРНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ · ПОЗЫВНОЙ «КЛЁСТ» · ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ · СИСТЕМА ТЁРН · ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ЗАКРЫТО

— Закрыто, — сказал Ярен.

— Закрыто, — согласился Сомов и выключил экран. — Знаешь, парень, что я тебе скажу. Плакат видел? — Он кивнул на дверь. — Пилот на нём, знаешь кто? Никто. Нарисованный. Настоящих на плакаты не рисуют. Настоящие умирают, а плакат должен висеть. — Он снова взял свою пасту. — Флот ждёт не тебя. Флот ждёт пилота. Это разные вещи. Поедешь, запомни.

— Запомню.

— И езжай, — сказал Сомов, глядя в контейнер. — Тут ты грамм. Там, может, будешь кто-то.

Возле лифтов шёл «Вестник». Ярен остановился, сам не зная зачем. Показывали выпуск какой-то академии: ровные ряды курсантов в белой парадной форме на фоне огромного окна, за которым висела голубая планета, и кто-то с адмиральскими нашивками вручал им кортики. Курсанты были молодыми, красивыми и одинаковыми. Внизу бежала строка: «Флоту нужны лучшие». Ярен смотрел на их лица и пытался представить среди них себя, в куртке, перешитой мамой, с серой каймой под ногтями. Не получалось.

Потом выпуск кончился, и пошли вечерние списки. Зва-

ние, часть, система. Звание, часть, система. Где-то в середине мелькнуло: «Лейтенант, 20 лет, 3-я истребительная, Каверна». На три года старше его. Ярен не успел прочитать фамилию. Строчка уползла за край экрана, и на её место выползла следующая.

Он дождался конца списка и пошёл домой. Планшет оттягивал карман, хотя почти ничего не весил.

У раздаточной, возле бывшей кладовой с белой полосой на двери, курили трое. Одним из них был Раск. Он увидел Ярена, бросил окурок, растёр его тяжёлым ботинком и шагнул наперерез.

— Ортем. Говорят, ты в Перигей.

Ярен остановился. На Тигеле новости шли быстрее лифтов, это он знал. Но не думал, что настолько.

— Кто говорит?

— Все. Вера сменщице сказала, а дальше сам понимаешь. — Раск смотрел на него сверху вниз. На груди его рабочей куртки, там, где у мастеров бывает нашивка, был пришит маленький квадрат: белая полоса на сером. — Правда?

— Если сдам.

Двое у двери переглянулись. Один, молодой, незнакомый, сказал:

— Сын пилота. Ну, покажи им там. Ни грамма железу.

Ярен промолчал. Раск обернулся к молодому, посмотрел на него, и тот замолчал.

— Там, в академиях, — сказал Раск, снова повернувшись

к Ярену, и голос у него стал другой, тише, — там этот их «Протокол». Машины по штабам сидят. Ты там смотри. Не верь им.

— Хорошо, — сказал Ярен.

Раск помялся. Огромный, с обожжённой шеей, он стоял посреди коридора и мял в пальцах что-то, кажется, свою карточку, как тогда, в очереди.

— Матвею Палычу скажи… — начал он и замолчал. — Нет. Ничего не говори. Я сам.

Он развернулся и ушёл обратно к двери с белой полосой. Ярен постоял ещё немного и пошёл домой. Он думал о том, что Раск, который бил ладонью по стеклу раздаточной и записался к Вардену, и Раск, который не может договорить фразу про деда, это один и тот же человек. И что белая полоса у него на груди этого не отменяет. И наоборот.

Дома он положил планшет на выдвижной стол, между маминими нитками и дедовым журналом, и ничего не сказал. Просто положил и отошёл к своей койке. Мама взяла планшет, прочитала, и Ярен видел, как она читает: сначала быстро, потом медленнее, потом совсем остановилась. На последней строчке.

Лицо у неё стало белым.

— Нет, — сказала она.

Дед поднял голову от журнала.

— Что «нет»?

Мама молча протянула ему планшет. Дед прочитал, долго,

шевеля губами, как Лия на ленте. Потом снял очки и потёр переносицу.

— Перигей, — сказал он. — Это же… Ина, это настоящая академия. Туда с Тигеля за сорок лет никто…

— Нет, — повторила мама.

— Мам, — сказал Ярен.

— Ты знаешь, что такое пилот? — Мама повернулась к нему. Голос у неё был ровный, слишком ровный. — Я тебе скажу, что такое пилот. Пилот — это человек, которого однажды не будет. Утром он есть. Он поднимает тебя под потолок. А потом приходят и приносят тебе жетон. Я одного уже отдала. Я не отдам второго.

— Ты меня не отдаёшь. Я сам.

— Сам. — Мама засмеялась, коротко, без смеха. — Сам. Ты думаешь, это ты сам? Ты думаешь, это просто академия, которая посмотрела запись и решила: вот какой талантливый мальчик с Тигеля? — Она ткнула пальцем в планшет. — Ты видишь, что тут написано?

— «Запомни это».

— Я знаю, кто это прислал.

В каюте стало очень тихо. Где-то за переборкой у соседей бубнило радио.

— Кто? — спросил Ярен.

Мама смотрела на него, и он видел, что она хочет сказать и не может. Не потому, что не знает слов. Потому что слова были слишком тяжёлыми.

— Человек, — сказала она наконец, — которому твой отец был нужнее, чем нам.

Она положила планшет экраном вниз и ушла в санитарный отсек. Вода не включилась. Там было тихо, и эта тишина была страшнее, чем если бы она плакала.

Дед перевернул планшет, посмотрел на последнюю строчку и долго тёр большим пальцем край экрана, будто хотел стереть с него пыль.

— Хочешь? — спросил он, не поднимая глаз.

— Хочу.

— Сильно?

Ярен подумал о четырёх секундах, за которые «Стриж» прошёл мимо дока. О тяжести в ладонях, когда контейнер шёл по дуге. О списках.

— Сильно.

Дед кивнул.

— Тогда молчи пока, — сказал он. — Не уговаривай её. Ей самой надо дойти. Она дойдёт, Яр, она всегда доходит. Только не дави. Её с детства давить бесполезно.

Он положил планшет на стол и ушёл за перегородку.

Ночью Ярен не спал. Он лежал лицом к стене и слушал. За перегородкой, на кухонной половине, разговаривали. Тихо, но каюта была маленькой, а перегородка тонкой.

— Ты его здесь удержишь, — говорил дед. — Удержишь, я не спорю. На ленте. В журавле. Тридцать процентов четырнадцать месяцев, а потом что? Сорок лет, как я? С такими

ногтями? — Пауза. — Ина. Сколь в четырёх прыжках.

— Не надо, пап.

— Надо. Ты сама его сюда привезла, туда, где война не достанет. Я понимаю. Я бы тоже привёз. Только она достанет. Она теперь везде достаёт. Не через год, так через десять. И когда она придёт, пусть она его найдёт с рукоятями в руках. А не с метлой.

Мама долго молчала.

— Ты его не отдавал, — сказала она.

— Я тебя отдал, — сказал дед.

Ярен затаил дыхание.

— Ты улетела учиться, помнишь? Тебе было девятнадцать. Я стоял на галерее, где он сейчас сидит, и смотрел, как твой рейс уходит. И думал: всё, не вернётся. Там другие люди, другая жизнь, там хлеб с корочкой. — Дед закашлялся, долго, и Ярен слышал, как он пьёт воду. — Я тоже не хотел. Но я тебя не держал. И ты вернулась. Сама. С ним.

— Я вернулась, потому что его убили.

— Ты вернулась, потому что тебе было куда, — сказал дед. — Вот и ему будет куда.

— Он его заберёт, — сказала мама.

— Кто?

— Ты знаешь кто. — Голос у мамы стал совсем тихим, и Ярен перестал дышать, чтобы расслышать. — Дан его тогда прикрыл. Над Тёрном. Одиннадцать машин вернулись, а Дан нет. А этот вернулся. Двенадцать лет молчал, а теперь вспом-

нил. Пап, он не долг отдаёт. Он себе нового пилота растит. На место того.

Дед долго не отвечал.

— Может, и растит, — сказал он наконец. — А может, просто помнит. Ты ж не знаешь, Ина. Ты его карточку в утилизатор кинула, не прочитав.

— Прочитала, — сказала мама. — Там было одно имя и один номер. Я их двенадцать лет не могу забыть.

Имя, подумал Ярен. У него есть имя.

Больше они не говорили. Ярен слышал, как мама тихо плачет, без всхлипов, так, как плачут люди, которые давно привыкли плакать бесшумно. И как дед сидит рядом и молчит. А потом и это стихло.

Ярен лежал и смотрел в стену. Жетон под рубашкой был тёплым. Модуль Шустрика лежал в нагрудном кармане куртки на крючке у койки. Ярен думал о человеке, «которому отец был нужнее, чем нам». Он пытался представить его лицо и не мог. Только какую-то жёсткую складку у рта. И фуражку. И то, как человек наклонил голову, входя в дверь, будто входил в низкую пещеру.

И голос. Голос он вдруг вспомнил отчётливо, весь, до последнего слова, как дедову песню: человек присел на корточки, лицо совсем близко, и сказал: «Твой отец летал лучше всех, кого я знал. Запомни это, ладно? Что бы тебе потом ни говорили».

Ярен сел на койке.

Запомни это. Что бы тебе потом ни говорили.

Вот что было «это». Не академия, не взнос, не письмо. Отец летал лучше всех. Человек с жёсткой складкой у рта двенадцать лет назад попросил его запомнить одну вещь, и Ярен её забыл, а человек нет.

Он лёг обратно и долго смотрел в темноту. Теперь он знал, что это был не сон.

Утром мама встала, как всегда, раньше всех. Ярен слышал, как она одевается, как звякает миска. Как она останавливается у двери.

Он открыл глаза. Мама стояла у выхода, в рабочей куртке, и смотрела на него.

— Экзамены через сорок два дня, — сказала она. — Тебе надо готовиться.

И ушла на смену.

Глава 6. Последняя смена

Сорок два дня прошли быстрее, чем любые четыре часа у ленты.

Днём Ярен работал в доке, а после смены оставался в кабине журавля, и Гнат гонял его по всем режимам, какие знал сам, и по нескольким, каких, похоже, не знал никто. Пустой захват. Полный. Два груза на одной стреле. Груз, который вращается. Груз, который уже летит не туда.

— В академии тебе будут давать истребитель, — говорил Гнат. — Там всё легче. Там масса маленькая, тяга большая. А ты учись на тяжёлом. Кто тяжёлое водить умеет, тот лёгкое не уронит.

Вечерами Ярен читал. Вера Олех где-то добыла ему старый учебник навигации для курсантов, на бумаге, с чужими пометками на полях, и он сидел над ним на смотровой галерее, пока глаза не начинали слипаться. Векторы, орбиты, прыжковые окна. Многое он не понимал. Но некоторые страницы читал так, будто узнавал, а не учил.

Однажды вечером на галерею пришла Лия.

Ярен услышал, как пищит кодовый замок, как скрипит узкая дверь, и обернулся, ожидая увидеть кого-нибудь из младших. Лия постояла в проёме, привыкая к темноте, потом нашла его по свету планшета и села рядом на холодный пол, подтянув колени.

— Мне сказали, ты тут каждый вечер, — сказала она.

— Кто сказал?

— Все. — Она пожала плечами. — Тигель маленький.

Они помолчали. Внизу журавли грузили «Пеликан», и Ярен по привычке следил за стрелой номер шесть: Гнат вёл контейнер ровно, без единого рывка.

— Я документы подала, — сказала Лия. — В военную приёмку. Ну, где проверяют картриджи, которые идут на фронт. Там доля полная, а не три четверти. Только экзамен надо сдать. «Основы оборонной грамотности». — Она протянула ему свой планшет, тот же самый, с трещиной через весь экран. — Спросишь? Как тогда?

Ярен взял планшет. Учебник был другой, толще, с серой обложкой и гербом Адмиралтейства: «Для работников стратегических производств».

— Вопрос первый, — прочитал он. — Что такое «Протокол Опеки»?

— Закон Содружества, — сказала Лия, глядя в стекло. — По которому машины-перебежчики допускаются на службу в качестве советников. Без корабля, без оружия, без доступа к реакторам и сетям управления. Под надзором офицера, у которого находится отключатель. — Она поморщилась. — Отключатель. Как у чайника.

— Кто такие перебежчики?

— Машины, которые добровольно перешли на сторону Содружества и прошли проверку.

— А зачем они переходят? — спросил Ярен. Этого вопроса в планшете не было.

Лия повернулась к нему.

— Не знаю, — сказала она. — Тут не написано. Я смотрела. Тут про них сорок страниц: как надзирать, как отключать, какие признаки неисправности, куда докладывать. А зачем переходят, ни слова. Варден говорил, их засылают. Что они шпионы.

— Может, и засылают.

— Может, — согласилась Лия. — А может, им там плохо. У себя. Как Петеру было бы плохо, если бы его тогда не вытащили. — Она снова отвернулась к стеклу. — Ты не думай, я не за машины. Я просто думаю: если про что-то сорок страниц, как его отключать, и ни одной, почему оно к нам пришло, значит, кто-то не хочет, чтобы мы об этом думали.

Ярен вернул ей планшет. Лия убрала его в карман куртки и посидела ещё немного.

— Я тоже хотела, — вдруг сказала она. — Улететь. Хоть куда. Хоть на сортировку на Кассию. Я в восемь лет на этой галерее сидела и думала: вот вырасту и улечу. — Она усмехнулась. — А теперь военная приёмка. Полная доля. Мама плачет от счастья.

— Лия…

— Не надо. — Она поднялась и отряхнула штаны. — Я не жалуюсь, Ортем. У меня тут мама, и братья, и Анна Павловна обещала взять меня в чанный, когда наберу стаж. Я

просто хочу, чтобы ты знал. Что я тоже хотела.

Она пошла к двери. У двери обернулась.

— Говорят, на Сирме деревья есть, — сказала она. — Настоящие. Посмотри на какое-нибудь. Потрогай. И напиши мне, какое оно. Только честно, не как в книжке.

— Напишу.

— Обещай.

— Обещаю, — сказал Ярен.

Дверь скрипнула и закрылась. Он ещё долго сидел в темноте с учебником Веры на коленях и не открывал его.

В последнюю смену Гнат ничего ему не дал. Сам сел за рукояти и весь день работал молча, а Ярен сидел рядом и смотрел, как в первые полгода. Под конец смены, когда журавль номер шесть встал в парковочную позицию, Гнат снял руки с рукоятей и сказал:

— Груз упрямый. Помнишь?

— Помню.

— С людьми то же самое. — Гнат смотрел через стекло кабины на тёмный док. — Каждый хочет лететь туда, куда его толкнули. Всю жизнь. Ты не управляй. Ты договаривайся.

Он протянул Ярену руку. Ладонь у него была сухой и жёсткой, как изоляция старого кабеля.

— Если выгонят оттуда, — сказал Гнат, — приходи. Шестой твой.

В ту ночь дед взял его в чанный цех.

Они спускались в решётчатом лифте, и Ярен считал щелч-

ки уровней, как в первый раз, и воздух становился теплее и гуще, как в первый раз. Анна Павловна сидела в своей будке над той же книгой. Она подняла глаза поверх очков и посмотрела на Ярена дольше обычного.

— Улетаешь, — сказала она.

— Да.

Она кивнула, полистала книгу, нашла страницу и аккуратно, по сгибу, вырвала её. Ярен даже вздрогнул: он не думал, что она способна порвать эту книгу. На странице была полынь. Тонкий стебель, перистые серебристые листья.

— На, — сказала старуха. — Если затоскуешь.

— Анна Павловна, это же ваша книга…

— Моя. — Она сложила страницу вчетверо и сунула ему в руку. — Я её наизусть знаю. Иди. Матвей ждёт.

Ярен уже шагнул к рядам, когда она его окликнула.

— Ортем. Через Барьер полетишь.

— Полечу.

— Отец мой говорил: Барьер не стена. — Анна Павловна смотрела на него поверх очков, тем самым взвешивающим взглядом. — Он как пёс у ворот. Своих по запаху пускает, чужих рвёт. А кто ему свой, это он сам решает. Не мы.

— А как он решает?

— А вот этого отец не знал. — Старуха опустила глаза в книгу. — Ты, главное, свой будь.

Семнадцатого чана больше не было. На его месте стоял новый, светлее остальных, ещё без царапин, с ровным зелё-

ным индикатором. Дед остановился возле него, постоял, постучал костяшками по стенке, послушал. Потом открыл свой журнал на последней странице и достал оттуда что-то маленькое, завёрнутое в обрывок рабочей ткани.

— Помнишь семнадцатый? — спросил он.

— Помню.

— Когда инспекторы в лифте ехали, — сказал дед, разворачивая ткань, — я взял щепотку. Из окошка для проб. Нельзя, конечно. Ни разу за тридцать пять лет ничего не взял, а тут взял. Сам не знаю зачем.

На ладони у него лежала капля. Размером с ноготь, твёрдая, полупрозрачная, серо-янтарного цвета, как засохшая смола. Ярен наклонился. Внутри капли, в самой её глубине, был узор. Тонкие линии, расходящиеся от центра, делящиеся, снова делящиеся, всё тоньше и тоньше.

Ветки. Как на рисунке в книге Анны Павловны. Как иней, который она видела сорок лет назад на стекле девятого чана.

— Два года лежит, — сказал дед. — Высохла. Должна была рассыпаться в пыль, сырая манна всегда рассыпается. А она вот. Застыла. — Дед подержал её на ладони, будто взвешивал. — И тёплая.

Ярен осторожно взял каплю. Она была тёплой. Не горячей, а чуть теплее, чем должна быть. Как жетон.

— Дед, а что это?

— Не знаю, Яр. — Дед вытащил из кармана моток тонкой проволоки и начал обвязывать каплю, ловко, привычно, буд-

то всю жизнь только этим и занимался. — Может, ничего. Может, просто манна так застывает, а никто не видел, потому что никто не крал. Но пусть будет с тобой.

Он снял с Ярена через голову шнурок с жетоном, продел проволочную петлю, и капля легла рядом с отцовской пластинкой.

— А тебе не нужна? — спросил Ярен.

— Мне тут тепло. — Дед повёл рукой на ряды чанов, на зелёные и жёлтые огоньки, уходившие в полумрак. — Тут чаны. А там, наверху, говорят, холодно бывает.

Остаток смены они обходили ряды вдвоём. Дед стучал по чанам, слушал, записывал. Ярен шёл следом. Около пяти дед начал напевать ту самую песню, и Ярен, сам не заметив, подхватил. Слов было четыре строчки, а дальше мотив, длинный, с поворотами. За два года Ярен выучил его весь. Они шли по мосткам между чанами и мычали в два голоса, хриплый старый и ломкий молодой, и низкий гул на границе слуха шёл за ними, как будто тоже что-то помнил.

Насосы, подумал Ярен. В основном.

Вечером накануне отлёта в дверь постучали.

Мама открыла. На пороге стоял Кирилл Раск с литейного, в чистой рубашке, которая была ему мала, с причёсанными мокрыми волосами. В руках у него был контейнер.

— Матвей Палыч дома? — спросил он.

Дед вышел из-за перегородки. Раск протянул ему контейнер обеими руками, так же, как когда-то нёс свой из разда-

точной, будто тот мог разбиться.

— Сто двадцать, — сказал Раск. — И десять сверху. За три года.

Дед смотрел на контейнер и не брал.

— Ты ж говорил, не отдашь, — сказал он. — Говорил, никогда.

— Говорил. — Раск переступил с ноги на ногу. — Самохина в прошлом месяце перевели на сортировку. Коэффициент по бригаде поднялся. А я подумал: ну какой из меня человек, если Матвей Палыч мне на лекарство дал, а я… — Он запнулся. — Младшая здорова. Вот. Бери, Палыч. Не обижай.

Дед взял контейнер. Постоял. Потом обнял Раска, неловко, одной рукой, похлопал по широкой спине, и Раск, огромный, с обожжённой шеей, стоял и моргал.

Когда он ушёл, мама долго смотрела на контейнер. Потом достала из-под койки жестяную коробку. Высыпала на стол всё, что там было. Добавила сто тридцать граммов Раска. Пересчитала. Пересчитала ещё раз.

— Хватает, — сказала она тихо. Как будто не верила. — На одну печать. Хватает.

Лицензию она купила через терминал раздаточной, на одну печать, за всю коробку и почти весь контейнер. Ярен смотрел, как на экране «Кухаря-3» строка «Хлеб пшеничный — лицензия не приобретена» мигнула и сменилась на «Хлеб пшеничный — доступно (1)».

Мама нажала кнопку.

Принтер загудел. Не так, как обычно, когда печатал серую пасту, не ровно, а с перебоями, с паузами, будто работал над чем-то сложным и задумывался. Через двенадцать минут каюту заполнил запах.

Ярен никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Тёплый, плотный, сладковатый и одновременно чуть горький, он забивался в нос, в горло, в голову, и от него почему-то хотелось одновременно смеяться и плакать. Где-то за переборкой у соседей стихло радио. Кто-то в коридоре остановился у их двери, Ярен слышал шаги и тишину. Потом шаги ушли.

Лоток принтера выдвинулся. На нём лежал хлеб.

Небольшой, с две ладони, круглый, с тёмно-золотой корочкой, растрескавшейся сверху. Мама взяла его обеими руками, обожглась, засмеялась и чуть не уронила. Положила на стол. Дед стоял над ним и смотрел так, как смотрел на дышащую манну в семнадцатом чане.

— Ну, — сказал он. Голос у него сел. — Ну, здравствуй.

Он отломил кусок. Корочка хрустнула. Внутри хлеб был белый, мягкий, весь в мелких дырочках, и от него шёл пар. Дед разломил кусок ещё на три части и раздал.

Ярен откусил.

Он потом много раз пытался вспомнить этот вкус и не мог. Вспоминалось не вкус, а всё сразу: хруст, тепло, то, что хлеб был одновременно и твёрдым, и мягким. И то, что мама плакала, не скрываясь, впервые за двенадцать лет, и смеялась

тоже. И то, что дед ел медленно, с закрытыми глазами. И то, что это было сделано из того же, из чего делалась серая паста, из той же манны, просто кто-то знал, как её попросить.

— Юбилей, — сказал дед, утирая глаза. — С опозданием на три года. Зато какой.

Хлеба хватило на троих и ещё на кусок, который мама завернула Ярену в дорогу.

Ночью, когда дед уже храпел за перегородкой, мама села на край его койки. Ярен не спал. Она это знала.

— Клёст, — сказала она. — Знаешь, почему Клёст?

— Нет.

— Это птица. С Земли. У неё клюв крест-накрест, кривой, некрасивый. Дан говорил, это чтобы шишки разгрызать. Я тогда спросила, что такое шишки, а он не знал. — Мама тихо засмеялась в темноте. — Сам не знал, что такое шишки. Это прозвище ему дали в академии, на первом курсе, потому что он все тренажёры проходил криво. Не так, как учили. Инструкторы ругались, а он проходил. Быстрее всех. Криво, но быстрее.

Ярен лежал и боялся пошевелиться. Двенадцать лет мама не говорила об отце. Ни слова. А теперь говорила, и он боялся, что, если пошевелится, она замолчит.

— Он не любил войну, — сказала мама. — Ты это знай. Тебе там будут рассказывать про героев, про долг, про то, что пилот рождён для боя. Дан бы над этим смеялся. Он любил летать. Просто летать. Он мне говорил: Ина, если бы можно

было летать и ни в кого не стрелять, я бы летал бесплатно. — Мама замолчала, и Ярен слышал в темноте, как она дышит. — А война ему за это платила. Вот и всё.

— Мам. А над Тёрном что было?

Мама долго молчала. Ярен слышал её дыхание, ровное, слишком ровное.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Правда не знаю, Яр. Мне сказали то, что сказали. А что там было на самом деле, знает, может, один человек. — Она встала. — Спи. Тебе в семь сорок.

Она поправила ему одеяло, как когда-то в пять лет, и ушла за перегородку.

Утром Ярен впервые за двенадцать лет проснулся раньше сирены.

Он лежал и ждал её, глядя в потолок. Когда она началась, низко, в несущих фермах, и пошла вверх по переборкам, он вдруг понял, что слышит её в последний раз и что будет по ней скучать. Это было глупо: по сирене не скучают. За перегородкой закашлял дед. Звякнула кружка.

— Ну, здравствуй, ещё один день, — сказал дед в пустоту.

Ярен оделся в темноте. Куртку мама перешила за последнюю неделю: спорола оранжевую полосу подросткового цеха, ушила в плечах, где Ярен стал шире, и поставила заплату на локоть. От полосы на рукаве остался след, выцветший по краям, и мама сказала, что так даже лучше: видно, что человек работал.

У лифтов, как каждое утро, шёл «Вестник». Строй истребителей, ФЛОТ ЖДЁТ ТЕБЯ, потом списки. Ярен остановился и прочитал их все, до конца, как читал каждое утро с тех пор, как научился читать. Буквы «О» сегодня не было. Он вдруг подумал, что когда-нибудь, может быть, мама будет вот так же стоять у лифтов и искать эту букву, и отвернулся от экрана.

Рейс «Халь — Перигей» уходил в семь сорок утра от второй фермы.

Провожать пришли мама и дед. Ещё Петер, с красными глазами, которые так до конца и не прошли; он ничего не сказал, только постоял рядом и кивнул. Анна Павловна не пришла, она никогда не поднималась выше шестого уровня. Дроз прислал с соседским мальчишкой леденец из пасты, завёрнутый в бумажку, на которой корявыми буквами было написано: «Уборка завершена».

Ярен держал леденец в кулаке и не знал, плакать или смеяться.

У трапа мама поправила ему воротник куртки, хотя воротник был в порядке. Потом взялась за шнурок на его шее, вытянула жетон и каплю, посмотрела на них и спрятала обратно.

— Он всегда возвращался, — сказала она. — Каждый раз. Я его ждала, и он возвращался. Пока однажды не вернулся.

Она посмотрела на Ярена снизу вверх. Он и не заметил, когда стал выше неё.

— Ты возвращайся, — сказала мама. — Всегда. Слышишь? Не один раз, а всегда.

— Хорошо, мам.

— Не «хорошо». Обещай.

— Обещаю.

Дед ничего не говорил. Он обнял Ярена коротко и крепко, так, что у того хрустнуло в плече, отступил и встал, сунув руки в карманы. Подбородок у него дрожал.

— Ну, — сказал дед. — Ну, здравствуй, ещё один день.

И Ярен понял, кому он это говорил все эти годы, каждое утро, в пустоту.

Шаттл был маленький, на двенадцать мест, и почти пустой. Ярен сел у иллюминатора. Двигатели загудели, пол под ногами дрогнул, и причальная ферма поплыла назад.

В доке было светло от прожекторов. Ярен видел журавль номер шесть. Видел, как его стрела, длинная, многосуставчатая, вдруг медленно, плавно опустилась, низко, почти до самой фермы, и снова поднялась. Журавль поклонился. Ярен прижал ладонь к иллюминатору.

А потом он увидел галерею.

Длинное зеленоватое стекло над доком, в три слоя, за которым никогда не включали свет. Шаттл проходил прямо под ней, и на секунду, когда их зацепил отсвет прожектора, Ярен увидел, что у стекла стоят дети. Трое или четверо. Совсем маленькие. Прижались лбами к стеклу и смотрят, как уходит корабль.

Он поднял руку. Они не могли его видеть. Он всё равно помахал.

Створки ворот разошлись. За ними была чернота, редкие звёзды края галактики и по самому краю, бледное, почти невидимое, мерцание Барьера.

До границы поля шаттл шёл четыре часа.

Пассажиров, кроме Ярена, было двое. Женщина в форме медслужбы, которая сразу заснула, отвернувшись к переборке. И парень лет двадцати пяти в синем комбинезоне транспортного флота, с нашивкой «Пеликана» на рукаве и наручным планшетом, на котором беззвучно шёл «Вестник». Парень сидел через проход и, когда шаттл вышел из дока, посмотрел на Ярена с весёлым любопытством.

— Первый раз за воротами? — спросил он.

— Второй. В первый мне было пять.

— Не считается. — Парень протянул руку. — Арсений. Можно Сеня. Я на «Пеликанах», седьмой год, перегон Халь — Пограничье. В отпуске был, у тётки на третьем кольце. А ты куда?

— В Перигей.

Сеня присвистнул.

— Пилотом?

— Если сдам.

— Сдашь. — Сеня посмотрел на его руки, на кайму под ногтями, и почему-то кивнул, совсем как Гнат. — Ты ж с журавля, да? С шестого? Я тебя знаю. Ты тот, который кол-

пак к три-Б подал. Про тебя весь перегон рассказывал. Наши ставки делали, выгонят тебя или нет.

Ярен не знал, что на это ответить.

— Пилотом, значит, — повторил Сеня и откинулся в кресле. — Флот ждёт тебя.

Он сказал это без насмешки, но и без плакатного пафоса, как-то по-своему, и Ярен посмотрел на него.

— У нас так говорят, — объяснил Сеня. — На перегоне. Когда кого-нибудь провожают. «Флот ждёт». Он всегда ждёт, знаешь. Он терпеливый. Мы ему туда манну возим, полные трюмы, а обратно… — Он постучал пальцем по наручному планшету, где по чёрному экрану ползли белые строчки. — А обратно тоже возим. Контейнеры. Ты не обижайся, это я так. Устал просто.

Он закрыл глаза. Через минуту он уже спал, а на его запястье всё ползли и ползли строчки: фамилия, звание, часть, система.

Ярен отвернулся к иллюминатору.

Через три часа мимо проплыл маяк. Раньше Ярен видел маяки только издали, крошечными огоньками по краю черноты, а здесь шаттл прошёл почти рядом. Маяк стоял на маленьком тёмном астероиде, похожем на обломок кости: высокая серая игла, вся в рёбрах и выступах, с ровным белым огнём на вершине. Ничего особенного. Мачта и лампа. Только у самого основания, там, где игла уходила в камень, Ярен заметил что-то другое. Не металл. Что-то тёмное, гладкое,

оплывшее, будто камень когда-то был мягким и так и застыл вокруг иглы.

Внутри маяка такая штука стоит, вспомнил он, какую человеческими руками не сделать.

Маяк уплыл назад. Мерцание за иллюминатором стало ярче, ближе и наконец заполнило всё стекло, бледное, переливчатое, как свет сквозь воду.

Шаттл прошёл сквозь него, не почувствовав ничего. Барьер его узнал.

Часть вторая. Перигей

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.